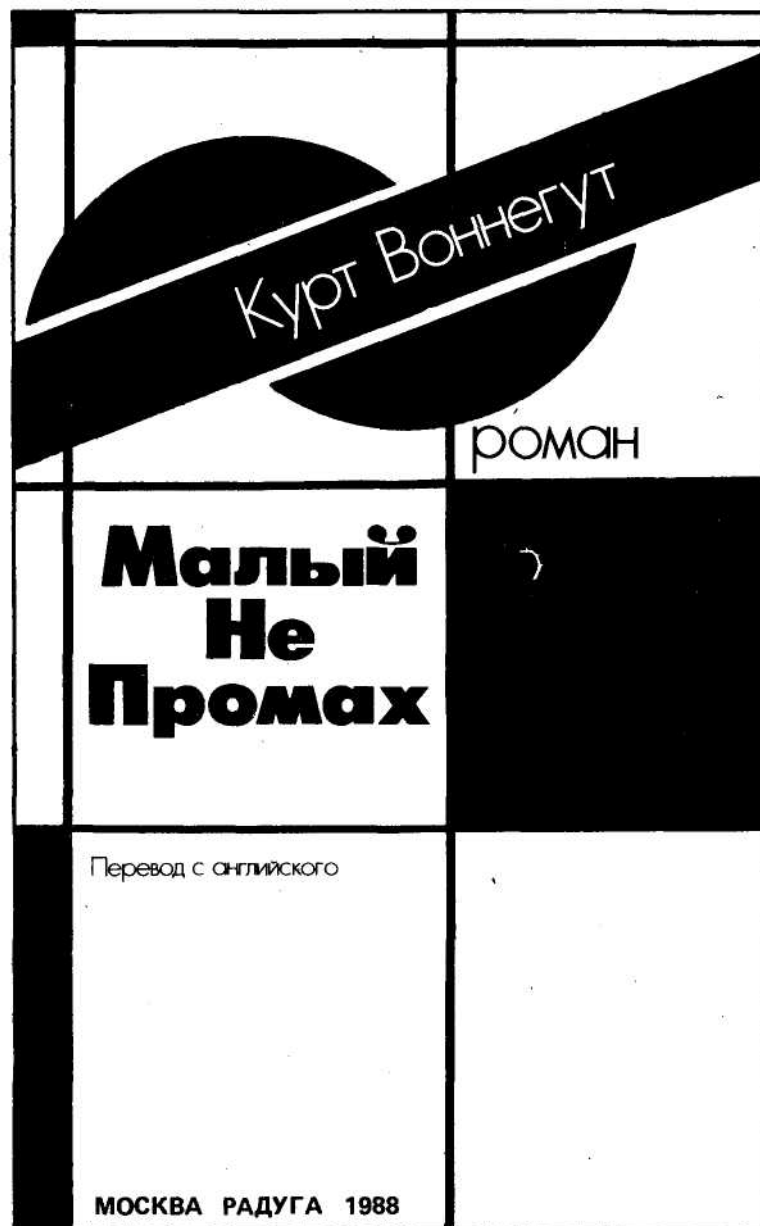


Kurt Vonnegut DEADEYE DIGK
1982



ББК84.7США
В73

Предисловие Г. ЗЛОБИНА
Перевод Р. РАЙТ-КОВАЛЕВОЙ и М. КОВАЛЕВОЙ
Редактор И. АРХАНГЕЛЬСКАЯ

Курт Воннегут.

В73 Малый Не Промах: Роман. Пер. с англ. /Предисл. Г. Злобина. - М.: Радуга, 1988. - 168 с.

Известный современный американский писатель Курт Воннегут, хорошо знакомый советскому читателю по таким произведениям, как "Бойня номер пять", "Колыбель для кошки", "Завтрак чемпионов" и др., в своем новом, пронизанном антивоенным пафосом романе в характерной для его писательского почерка гротескно-сатирической манере обличает буржуазно-обывательскую среду, в разные времена становившуюся благоприятной социально-психологической почвой для милитаристского психоза. Роман призывает к ответственному отношению к судьбе мира.

4703000000-041
В ----- 63-88
030 (01)-88

ББК84.7США

И (А м е р и к)

ИГРЫ ПО-АМЕРИКАНСКИ

Спасибо, Сэмюэл Коэн
и прочие гуманисты,
За вашу новую американскую "игрушку" —
Не ту, которой играют дети,
А ту, которая играет детьми,
Пока не останется ни одного ребенка...

*Евгений Евтушенко.
Мама и нейтронная бомба*

По всем книгам Курта Воннегута проходит цепная реакция персонажей и ситуаций, форм и идей. Даже скрупулезное расщепление его прозы вряд ли позволит выделить чистые частицы повторяемости — и писательской приверженности одной теме, веселого, беззаботного шутовства, и горькой озабоченности опасностями, какими грозит человеку им же созданная технотронная цивилизация. Чего только не намешано в воннегутовских романах и доведено до точки кипения, хотя не всегда автору удается получить желанный художественный синтез.

Последней новой вещью Воннегута, с которой познакомились в 1975 году русскоязычные советские читатели, был "Завтрак для чемпионов" (1972). В конце романа автор встречается со своими героями: полусвихнувшимся богатым фирмачом по продаже "понтаков" Двейном Гувером и непризнанным провидцем, писателем-фантастом Килгором Траутом. Встреча произошла в Мидлэнд-Сити, штат Огайо, где по инициативе фирмы "Бэрритрон", занятой производством пластиковых бомб для ВВС США, намечался пышный фестиваль искусств.

Фестиваль не состоялся из-за безумных выходок Двейна. То ли под влиянием вредных веществ, накопившихся в организме, то ли от чтения сочинений Траута тот вдруг вообразил, будто в мире механических болванчиков он один наделен свободой воли. Тогда Воннегут решил распрощаться с Килгором Траутом, который верой и правдой служил ему долгие годы, и отпустил его на свободу. О дальнейшей судьбе Двейна ничего не сообщалось, зато "Завтрак" кончался большой рисованной надписью: ЕТС. — "и так далее". Читалась она чуть иначе: "продолжение следует".

Продолжение задержалось на десять лет. Они не были такими уж бесплодными, и простыми тоже не были. К 200-летию США Воннегут написал роман "Балаган, или Больше я не одинок" (1976), потом выпустил "Тюремную птаху" (1979), а два года спустя собрал "автобиографический коллаж" "Вербное воскресенье" — статьи и выступления разных лет и по разным поводам.

"Балаган" создан по неписаным и произвольным правилам поэтики парадоксов — они как нельзя лучше отвечают игровой природе воннегутовского таланта.

Посмотришь с одной стороны — книга и впрямь "про заброшенные города, духовное людоедство, кровосмешение, про одиночество, безлюдие и смерть", как говорится в "Прологе". Главная ее тема —

5

умирание Америки — расколотой, раздираемой междоусобными распрями, распадающейся на части.

Посмотришь с другой — и видишь, как посреди страшной антиутопии писатель строит прекраснуюдушную утопию. Столетний бывший президент США, прозябающий в руинах обезлюдившего Манхэттена, изобретает средство против ужасной болезни — "одиночества по-американски". Стоит только выбрать себе второе имя по названию растения, животного или минерала, как тут же делаешься членом большой дружной семьи — бурундуков, или бокситов, или какой еще. Полное имя старика — Уилбер Нарцисс II Свейн, он брат цветам и родственник всему живому и сущему. Он больше не одинок.

Вылазка Воннегута на территорию реалистического повествования в "Тюремной птахе", опирающегося отчасти даже на исторические факты, не дала значительного творческого результата. Да, пожалуй, и не могла дать в силу особенностей его дарования.

Радикал в 30-х годах, "лояльный" свидетель Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, из-за которого в 1950-м осужден ни в чем не повинный человек, сам по ошибке упрятанный за решетку в 70-х, "осторожный приверженец капиталистической демократии" — таковы жизненные вехи и установки Уолтера Старбека, центрального персонажа романа.

Не подлец и не герой, Старбек просто жил как живет, жил под диктовку чьих-то больших денег — жертва обстоятельств, пленник общества, "тюремная птица" истории — и потому заслуживает прощения.

Повесть о Старбеке была бы совсем пресной проповедью милосердия, если бы Воннегут не добавил в нее щепотку выдумки, высмеивания, розыгрыша.

Под видом старой бездомной "леди с сумками" бродит по улицам Нью-Йорка хозяйка могущественной корпорации "Рамджак". Таинственная миссис Грэхем — на самом деле бунтарка и бывшая соратница Старбека. Согласно воле миссис Грэхем, после ее смерти корпорация должна перейти в руки ее законного владельца — американского народа. Но как только "Рамджак" стал "народным достоянием", его начали растаскивать по частям всякие уголовники, иностранцы, а также федеральное правительство, черпающее из него средства на бюрократические расходы и выплату национального долга, а также ассигнования на производство "новейших видов вооружения". План переделки мира путем "мирной экономической революции", о котором мечтала Мери Кэтлин О'Луни, провалился.

"Смешное и горькое обличение старой доброй американской мечты о совершенной экономической системе" — так расценили рецензенты в Штатах язвительную фантазию Воннегута на темы общенародной собственности и свободного предпринимательства. Помимо "Нью-Йорк тайме", одной голливудской компании, сети цирков Барнума и Бейли корпорация "Рамджак" контролировала и издательскую фирму "Делл" — ту самую, которая купила права на издание "Тюремной птицы" в мягкой обложке. На обороте титула нового, десятого романа

6

Воннегута тоже стоит знак охраны авторского права: ©1982, Корпорация "Рамджак".

Воннегутовские игры начались до того, как начался роман.

Иронично и плохо поддается переводу на другой язык его название — "Deadeye Dick". Переводчики выбрали ближайшее и свое — "Малый Не Промах". Так прозвали героя, и прозвище его означает умение метко стрелять, попасть в яблочко, а также пробивную способность, ловкость, везение.

Однако жизнь с малолетства сыграла над ним злую шутку.

В романе опять знакомые приемы, знакомая манера. Четырехстраничное предисловие, составленное из коротких разнородных высказываний и подписанное, как всегда, К. В. Объяснения, которые мало что объясняют, скорее наоборот — за исключением разве что некоторых очевидных вещей вроде: "мне скоро стукнет шестьдесят". Вспоминается, что в предисловии к "Завтраку для чемпионов" автор тоже писал: "Эта книга — мой подарок самому себе к пятидесятилетию".

И вдруг тут же, в прологе к роману, привычные воннегутовские шутки пререзает первый тревожный сигнал: "В книге описан взрыв нейтронной бомбы в густонаселенном районе..."

Центр этого густонаселенного района — тот же Мидлэнд-Сити, который фигурировал в "Завтраке". И в нем живут кое-кто из знакомых нам по старому роману персонажей: торговец автомобилями Двейн Гувер или, например, Фред Бэрри, военнопromышленник и меценат. Килгора Траута нет и в помине. Зато появились новые лица, и прежде всего семья Вальцев — "твердолобая, лишенная воображения, неотесанная, немецкая". На ней завязаны главные узлы сюжета.

Два происшествия случаются в Мидлэнд-Сити. Отделенные большим промежутком времени, несопоставимые по масштабам и последствиям, они, однако, как бы даже соединены между собой странным и капризным сцеплением романых обстоятельств и — сверхзадачей автора.

Первое произошло во время войны. В то второе воскресенье мая 1944-го дом Вальцев посетила Элеонора Рузвельт, совершающая перед очередными президентскими выборами поездку по стране. Она говорила о том, каким распрекрасным будет мир после скорой победы над Гитлером. (И верно, меньше чем через месяц союзники соберутся наконец-то с силами и духом и осуществят операцию "Оверлорд", открывшую второй фронт.)

После отъезда первой леди двенадцатилетний Руди Вальц забрался на крышу со "спрингфилдом" из отцовской коллекции огнестрельного оружия и от нечего делать, играючи, нажал на спусковой крючок. Пуля пролетела несколько кварталов, попала в окно дома Джорджа Метцгера, редактора местной газеты "Горнист-обозреватель", и убила его жену. Элоиза была беременной. Погиб и ее неродившийся ребенок, закрылся еще один, не успевший раскрыться, "смотровой глазок". В стране праздновали День матери.

"Раз я никуда не целился, значит, я ни во что не попал", — пыта-

7

ется убедить себя Руди, но напрасно. Он рос и жил с непроходившим ощущением вины. И оно, пожалуй, было пострашней

людской молвы и суда людского. Сразу же после случившегося его заперли в клетку и выставили на всеобщее обозрение как "воплощение зла", пока не сообразили, что по возрасту его можно и отпустить.

Второе происшествие случилось, считай, в наши дни, в начале 80-х. Взрыв нейтронного устройства положил конец истории Мидлэнд-Си-ти — он просто перестал существовать. То есть город-то стоял целехонький, но вот стотысячное население его в одночасье уничтожилось лучевым извержением.

Самому Руди повезло: он был в отъезде и уцелел.

"А раз движимое и недвижимое имущество не пострадало, то, может быть, мир и не потерял ничего стоящего?" — доносится язвительная реплика автора.

Официальная версия катастрофы гласила: военный грузовик перевозил бомбу, взрыв — несчастный случай. Так ли, иначе — спасательные команды устроили братскую могилу, застлали ее бетоном, получилась замечательная автостоянка для туристов, хлынувших поглазеть на мертвый, обнесенный колючей проволокой город, где сразу "воцарился порядок, чего раньше очень не хватало". Сам президент США назвал инцидент "удачнейшим обстоятельством", поскольку возникла идея заселить каменный, сохранивший все удобства и блага цивилизации город беженцами с Гаити. Никаких дополнительных расходов и возни.

В иронично-насмешливом или печально-скептическом голосе Воннегута раньше редко слышалось: как это случилось? почему? кто виноват? Ему привычнее было переиначивать понятия и пускать все шиворот-навыворот. Даже в романе "Колыбель для кошки" (1963) фонтанирующая фантазия и огульное острословие заглушали вопросы, какими всегда задается большая проза, хотя речь там шла ни много ни мало о создании атомной бомбы. Примерно то же самое случилось со знаменитым воннегутовским романом "Бойня номер пять, или Крестовый поход детей" (1969) : эта фантазия на темы бывшей войны и современного мира проникнута печальным, но и отстранение насмешливым взглядом на то и на другое. Громче всего тревожные вопросы зазвучали у Воннегута именно сейчас, и понятно почему. Лет восемь-де-снть назад в США и повсюду в мире поднялась волна общественного возмущения работами над созданием оружия повышенной радиации — нейтронной бомбы, а Р. Рейган говорил: "Это оружие с лучом смерти из научной фантастики, о котором раньше только мечтали".

Литература быстро откликнулась на разработку нового средства массового поражения и возросшую угрозу всемирной катастрофы. В апреле 1978 года, как раз в те дни, когда президент Картер должен был принять решение — начать или отложить производство нейтронного оружия. Гор Видал выпустил эсхатологический роман-памфлет, роман-предупреждение "Калки". Почти одновременно с "Малым Не Промых" появилась послеатомная робинзонада интеллектуала Кэл-

вина Кона — единственного, кто чудом спасся после того, как противоборствующие стороны уничтожили друг друга — впрочем, путаная притча, сочиненная Бернардом Маламудом, ныне уже покойным, предлагала только один выход: жить среди человекообразных обезьян, уповая лишь на "милость божью" (так называется роман) . Если выйти за пределы Америки, то в духе черного юмора толкуются проблемы Большого Взрыва и постчеловечества Гюнтером Грассом в его последнем романе "Крысиха" (1986)...

Итак, призвав на помощь своего героя, Воннегут пускается на поиски причин обоих происшествий. Не стихийные же это бедствия, не капризы климата и погодных условий, какой была жестокая снежная буря, пронесшаяся над Мидлэнд-Сити в 60-м, после которой, простудившись, умер старший Вальц и пострадали другие обитатели города, И выстрел, и взрыв — только итог, результат, конец, а у всякого конца должно быть начало.

Нелегко дойти до начал теперешнему, пятидесятилетнему Руди Вальцу, скромному фармацевту, незадачливому драматургу, одинокому и далеко не счастливому человеку. Его сбивчивый, неуверенный рассказ, перескакивающий во времени и с предмета на предмет, разворачивает свиток трагических событий — загадочных, непонятных, несуразных, изобилующих неожиданными совпадениями и диким стечением обстоятельств. Возникает немыслимая череда несчастий, от которых почти что невозможно уберечься. И такая же длинная и запутанная вереница виноватых, что вроде как и не разобраться, кто чья жертва. Персонажи поворачиваются то хорошей стороной, то дурной, то страдают сами, то причиняют страдания другим. "Колесики цепляются за колесики", крутятся "шестеренки судьбы", вертится, наглотавшись всяческих наркотических снадобий, наша планета, которая "рано или поздно... все равно взорвется".

Говорят, что чистюля енот полощет в воде добытый им кусок сахара, пока тот не растает. Кажется, что и у Воннегута вот-вот "растает" тема в усердном полоскании случайностей и совпадений, истоков, связей и следствий. Конкретная вина за то, что произошло там-то и тогда-то, перекладывается на одного, другого, третьего, рассеивается в пространстве — но затем лишь, чтобы всех облудить радиацией совестливости. Чтобы вызвать у нас, читателей, встречную реакцию — чувство ответственности за наши прошлые и будущие поступки, и чужие тоже. "Преступление, которое он (Руди Вальц. — Г. З.) совершил в детстве, — символ всех моих прегрешений", — говорит писатель в предисловии. Это уже не игра, а нравственная и философская позиция художника-гу-

маниста, озабоченного бездумностью, безумностью, "беспечной бесчеловечностью человека к человеку". Ненаигранный пессимизм тоже обладает огромным положительным зарядом.

Путешествуя памятью по прошлому, Руди Вапц не спешит судить, потому что несет тяжелый груз вины за свою мальчишескую выходку. Он — "нейтро".

Наименование вроде непривычное, а в то же время многое слы-

9

шится в нем и русскому, и всякому другому уху. Идет слово от латинского *neuter*, что первоначально значило "ни тот, ни другой", "ни то ни се". Идучи оттуда, слово постепенно обрастало новыми и новыми слоями смысла. Воннегут виртуозно выжимает из самопрозвания героя почти что все возможные значения, тасует их, раскладывает и опять собирает. Однако ж по краям этого разномастного смыслового веера располагаются два основных и конфликтующих: спокойное наивно-невинное понятие "нейтральный", "нейтралитет" и название элементарной, но грозной частицы — "нейтрон", с помощью которой разбомбили и расщепили атомное ядро, а отсюда вытягивается и зловещее — нейтронная бомба, нейтронное оружие.

Нейтрон был открыт в Англии в 1932 году. Тогда же в Америке открылся "смотровой глазок" Руди Вальца. Тогда же в Германии те, кому это было выгодно, усиленно подсаживали Гитлера в кресло рейхсканцлера.

А за четверть века до этого Отто Вальц, мнящий себя живописцем, спас в Вене от голодной смерти некоего собрата по профессии. Он не знал, какие художества сотворит потом Гитлер. "Слишком уж много самых чудовищных ошибок можно совершить, пока живешь на свете", — печально думает Руди о своем отце, который исковерканной судьбой сына и своей собственной расплывается и за приверженность нацистскому "новому порядку", и за то, что обучил Руди обращаться с оружием, и за многое другое.

"Нейтральные" интонации рассказчика сменяются настороженными всякий раз, когда речь заходит о катастрофе, постигшей Мидлэнд-Сити. Уже где-то посередине рассказа у Вальца вспыхивает догадка: "А вдруг взрыв нейтронной бомбы — не такая уж случайность?"

Чем дальше, тем тверже складывается у него из множества предположений убежденность: американские военные сами провели испытание нейтронной бомбы, взорвали одну на пробу в малом городишке, до чьих жителей никому дела не было. Выступила с протестом организация "Фермеры юго-западного Огайо — за ядерную безопасность", распространяя "поджигательские" слухи, будто Соединенными Штатами правит кучка спекулирующих на насилии.

Не исключено, что предложение использовать Мидлэнд-Сити в качестве идеального полигона для испытаний новой нейтронной игрушки поступило от владельца "Бэрритрон. Боевые системы". Иные дельцы вели в городе игры "в мировом масштабе" — вскользь, но красноречиво говорится в романе. Зато Фред Бэрри был хорошим сыном: в память о покойной матушке он построил сверхсовременный Центр искусств и подарил его родному городу.

Мама у Руди Вальца тоже умерла еще до нейтронного взрыва от раковой опухоли. Исследования показали, что опухоль развилась под влиянием радиоактивного облучения, источник которого — цемент в каминной доске на квартире у Вальцев. Дом строили братья Марити-мо, бывшие иммигранты, которых когда-то пригласил отец Руди, — к войне они заделались крупными строительными подрядчиками. Цемент

10

они завезли из Оук-Риджа, что в штате Теннесси, где правительство продавало отходы уранового производства.

Когда в Мидлэнд-Сити малолетний Вальц нечаянно убил беременную женщину, там, в Оук-Ридже, и в Лос-Аламосе, штат Калифорнии, и в Чикаго, и бог весть где еще вполне взрослые и рассудительные дяди вовсю трудились над созданием атомных бомб. Через пятнадцать месяцев ими будет уничтожено двести тысяч мужчин, женщин, детей. И никто не понесет за это наказания, никого не запрут в клетку и не назовут "воплощением зла", потому что «таким образом Америка "всерьез" собиралась стоять на страже мира и справедливости».

Казалось бы, только что Руди Вальц формулировал для себя символ веры настоящего "нейтро": никого не любить, никому не верить, ни во что не вмешиваться. К концу рассказа частицы "не" сами по себе отпадают. В хаотическом сцеплении событий он различил чудовищную закономерность и докопался до причины причин: его страна первой создала и применила ядерное оружие.

Не будь Хиросимы и Нагасаки, не было бы и нейтронного взрыва в Мидлэнд-Сити.

Такого населенного пункта нет в Огайо Но название его говорит, и говорит о многом — "город, стоящий посреди земли". Географические карты и справочники свидетельствуют: Мидлэнды есть в Мичигане, Техасе, Канаде, целая область Мидлэнд есть в Англии. Здравый смысл подсказывает: они есть всюду. Каждый город и каждое самое малое селенье стоит посреди земли, потому

что поди узнай, где она, эта середина. В каждом живут и хотят жить люди. И "каждая жизнь по-своему значительна, и каждая смерть может потрясти и заставить понять что-то необычайно важное". И не имеет значения, одна это смерть, или двести тысяч смертей, или миллионы.

Воннегут написал игровой роман, предупреждающий о серьезной, чудовищной опасности игрищ с оружием, прежде всего с оружием массового уничтожения. Как бы ни раздваивались, раstraивались, местами расстраивались иные образы, положения и понятия в книге, конечный вывод и призыв автора однозначен: РАЗОРУЖАЙТЕСЬ! Эту истину понял провинциальный журналист Метцгер еще в доатом-ную эпоху. Ее никак не хочет понять кое-кто в Вашингтоне и сейчас.

(Если кому-то не нравится разоружение, у Воннегута есть план вооружения. Он выдвинул его на токийской сессии ПЕН-клуба в мае 1984 года: начнем боеголовки безобидными детскими игрушками!)

Хорошо помню разговор с Куртом Воннегутом в начале 1985-го у него дома на нью-йоркской 48-й улице. Речь зашла о его немецких "корнях", но "интересы мои как писателя — общечеловеческие", — тут же добавил он.

Отвратить третью мировую, всемирно-катастрофическую войну — это и есть общечеловеческий интерес.

Г. Злобин

ПРЕДИСЛОВИЕ

Малый Не Промах — прозвище, родившееся еще в те времена, когда умение метко стрелять, бить без промаха, прямо в яблочко, вообще виртуозное владение огнестрельным оружием считалось у нас, на Среднем Западе, одним из главных достоинств настоящего мужчины. Со временем это прозвище приобрело несколько иной смысл — им награждали человека ловкого, пробивного, везучего, "любимца Фортуны": такой своего не упустит, ему пальца в рот не клади.

Так что прозвище это двусмысленное, оно похоже на двоякодышащую рыбу, которая родилась в океане, а потом приспособилась и к жизни на суше.

■

Я вставил в эту книжку несколько кулинарных рецептов, в качестве музыкальных пауз, чтобы у читателя слюнки потекли. Взял я эти рецепты из кулинарных книг: "Американская кухня" Джеймса Бирда, "Сборник классических рецептов итальянской кулинарии" Марчеллы Казан и "Американская кулинария" Би Сандлер. Честно говоря, я немного переделал эти рецепты, так что пользоваться этим романом вместо поваренной книги я никому не советую.

Тем более что у каждого серьезного любителя или любительницы поварского искусства должна быть собственная библиотечка поваренных книг.

■

В этой книге описан настоящий отель — это гранд-отель "Олоффсон" в Порт-о-Пренсе в Гаити. Я очень люблю этот отель и уверен, что он всем понравится. Мы с моей любимой женой Джил Кременц жили там в так называемом "коттедже Джеймса Джонса". В этом коттедже была операционная, когда там стоял штаб бригады морской пехоты США: с 1915 по

12

1934 год бригада оккупировала Гаити, чтобы охранять американские финансовые интересы.

Фасад простого деревянного домика, как и весь отель, потом разукрасили всякой резьбой, и он стал похож на пряничный домик.

Кстати, покупательная способность гаитянского доллара равна покупательной способности американского доллара, и американские доллары там везде в ходу. Только на Гаити, кажется, не принято изымать из обращения потрепанные в употреблении доллары и заменять их новыми купюрами. Там просто принимают любую долларовую купюру, если она даже истерта до толщины папиросной бумаги и от нее остался клочочек не больше почтовой марки.

Года два назад, после возвращения из Гаити домой, я нашел у себя в бумажнике такой доллар и отослал его по почте владельцам отеля "Олоффсон", Элу и Сью Зейц, с просьбой выпустить его на волю там, где он привык жить. В Нью-Йорке он не протянул бы и дня.

■

Джеймс Джонс (1921-1977), американский писатель, действительно жил в коттедже, который теперь называется "Коттедж Джонса". Он со своей женой Глорией провел там первые месяцы после свадьбы. Теперь для приезжих писателей большая честь жить именно в этих стенах.

Говорят, что в этом домике завелось привидение, но это не "дух" Джеймса Джонса, а чей-то другой. Мы его ни разу не видели. Но те, кто будто бы его видел, говорят, что это молодой человек белой расы, в белом халате и как будто он напоминает служителя больницы. В коттедже две двери: сзади — выход в здание отеля, спереди — на застекленную веранду.

Говорят, что привидение всегда проходит одним и тем же путем: появляется с черного хода, что-то ищет в шкафу, которого сейчас уже нет, а потом выходит через веранду. Но ни в самом отеле, ни на крыльце его никто никогда не встречал.

Видно, он что-то натворил или подсмотрел, когда тут, в коттедже, была операционная, и его мучает совесть.

■

В этой книге рассказано о четырех художниках. Один из них жив: это мой друг Клифф Маккарти, он живет в городе Афины, в штате Огайо. Трое других давно скончались: это Джон Реттиг, Фрэнк Дювенек и Адольф Гитлер.

Клифф Маккарти — мой ровесник, и родился он примерно в том же районе США, что и я. Когда он поступил в худо-

13

жественную школу, ему постоянно вбивали в голову, что самый большой порок для художника — стать эклектиком, заимствующим стиль то у одного художника, то у другого. А недавно в университете штата Огайо у него была выставка — отчет о тридцатилетней работе, и он говорит: "Теперь я заметил, что был эклектиком". Но работы у него прекрасные и очень сильные. Моя любимая картина - "Портрет матери художника

перед свадьбой в 1917 году". На ней изображена девушка в нарядном платье, и кто-то уговорил ее позировать в лодке, на корме. Лодка стоит в тихом затоне; речка совсем неширокая, ярдах в пятидесяти виден лесистый берег. И девушка смеется.

Джон Реттиг жил в самом деле. Одна из его картин находится в Музее изобразительных искусств города Цинциннати, называется "Распятие в Риме", и я ее точно описал.

И Фрэнк Дювенек жил в самом деле, у меня даже есть его работа "Голова мальчика". Это сокровище я получил в наследство от отца. Я почему-то всегда думал, что это портрет моего брата Бернарда — до того мальчик на него похож.

И Адольф Гитлер действительно учился живописи в Вене до первой мировой войны, и вполне возможно, что его лучшая работа называлась "Миноритская церковь в Вене".

■

Я вам объясню основную символику этой книги.

В ней говорится о забытом и заброшенном выставочном помещении в форме шара. Это моя голова теперь, когда мне скоро стукнет шестьдесят.

В книге описан взрыв нейтронной бомбы в густонаселенном районе. Вот так же в Индианаполисе уже умерли многие люди, которых я любил, когда жил там и только начинал писать. Индианаполис стоит на месте, а тех людей уже нет на свете.

Гаити — это Нью-Йорк, где я сейчас живу.

Бесполоый фармацевт, от лица которого ведется рассказ, — моя угасающая потенция. Преступление, которое он совершил в детстве, — символ всех моих прегрешений.

■

Это не история, а беллетристика, так что не вздумайте пользоваться этой книгой вместо справочника. К примеру, я говорю, что послом США в Австро-Венгрии, когда началась первая мировая война, был Генри Клауз из Огайо. А на самом деле послом в то время был Фредерик Кортленд Пенфилд из Коннектикута.

14

И еще я пишу, что нейтронная бомба — что-то вроде волшебной палочки: людей она убивает мгновенно, а их имущество остается в целости и сохранности. Эту выдумку я позаимствовал у сторонников третьей мировой войны. Настоящая нейтронная бомба, взорвавшись в населенных местах, причинит куда больше страданий и разрушений, чем я описал.

Я неправильно написал и про креольское наречие, потому что главный герой книги, Руди Вальц, начал изучать этот диалект французского языка. Я утверждаю, что в этом языке существует только настоящее время. Но так может показаться начинающему изучать язык, особенно если креолы, разговаривая с иностранцем, понимают, что ему легче всего выучить для начала только настоящее время.

Мир.

К. В.

Кто эта Сепия? Чем хороша,
Что все ее так превозносят?

Отто Вальц (1892- 1960)

1

Всем, пока еще не рожденным, всем невинным, ничего не ведающим комочкам аморфного небытия: берегитесь жизни!

Я не уберегся от жизни. Я захворал жизнью в тяжелой форме. Я был легким комочком аморфного небытия, как вдруг открылся маленький смотровой глазок. В него хлынул свет, прорвался звук. Наперебой зазвучали голоса, рассказывая мне о том, кто я такой и что творится вокруг меня. Спорить с ними не приходилось. Они говорили, что я — мальчик по имени Рудольф Вальц. Так оно и было. Они говорили, что сейчас 1932 год. Так оно и было. Они говорили, что я нахожусь в Мидлэнд-Сити, в штате Огайо, — и так оно и было.

Эти голоса никогда не умолкают. Год за годом они сообщают мне все, до мельчайших подробностей. Я и сейчас их слышу. Знаете, что они мне говорят? Что сейчас идет 1982 год и что мне уже пятьдесят лет.

И болтают, и болтают...

■ Моего отца звали Отто Вальц, его "глазок" открылся в 1892 году, и ему сообщили, что он унаследует порядочное состояние, нажитое главным образом продажей под видом лекарства знахарского снадобья под названием "Бальзам св. Эльма". Это был спирт, подкрашенный чем-то лиловым, для запаха туда клали гвоздику, корень сарсапарели и немного опиума и кокаина. Как говорится: "Пить-то не вредно, а бро-сишь — каюк".

Мой отец, как и многие наши знакомые, родился в Мид-

16

лэнд-Сити. Он был единственным сыном, и его мамаша, неизвестно почему, решила, что он станет вторым Леонардо да Винчи. Когда ему было всего десять лет, она устроила для него мастерскую на чердаке каретного сарая, стоявшего за их старинным особняком, и пригласила жуликоватого немца-мебельщика, который в молодости учился живописи в Берлине, давать отцу уроки рисования по субботам и после школы. И для учителя и для ученика это стало чудной халтурой. Учителя звали Август Гюнтер, и его смотровой глазок открылся в Германии году в 1850-м. Преподавание хорошо оплачивалось, не то что работа мебельщика, и при этом можно было пить сколько влезет.

После того как у моего отца огрубел голос, Гюнтер стал брать его с ночевкой то в Индианаполис, то в Цинциннати, то в Луисвилл или в Кливленд под тем предлогом, что они посетят там картинные галереи или мастерские художников. Там они ухитрялись каждый раз как следует нализаться и ходили по самым шикарным борделям на всем Среднем Западе, где стали общими любимцами.

И собирался ли хоть один из них выдать их общий секрет: что учить моего папашу писать маслом или рисовать было бесполезно?

■

Кто мог бы вывести их на чистую воду? В Мидлэнд-Сити искусством никто не интересовался, никто бы и не понял, -есть у моего отца способности к живописи или нет. Он мог бы с тем же успехом изучать санскрит — до этого никому не было дела.

Мидлэнд-Сити не Вена, не Париж. Это даже не Сент-Луис или Детройт. Это — настоящий Бусайрос. Это — Кокомо.

■

Мошенничество Гюнтера, конечно, было обнаружено, но слишком поздно. Его вместе с моим папашей арестовали в Чикаго — они буянили и крушили мебель в публичном доме. Выяснилось, что отец заразился гонореей и так далее. Но отец уже был в свои восемнадцать лет забубённым гулякой.

Гюнтера разоблачили, выгнали без рекомендаций. Старики Вальцы — дед и бабка — были очень влиятельными людьми благодаря бальзаму св. Эльма. Они сообщили всем знакомым, что никто из порядочных людей не должен пускать этого Гюнтера на порог и давать ему работу — ни по столярной части, ни по какой другой, никогда.

Отца отослали к родственникам в Вену — лечиться от дурной болезни и заниматься живописью во всемирно известной

17

Академии изящных искусств. Пока он был в море, в каюте первого класса на пароходе "Лузитания", великолепный особняк его родителей сгорел дотла. Пошел слух, что его спалил Август Гюнтер, но никаких улик не нашли.

Родители моего отца решили не строить новый особняк на старом месте и поселились на своей ферме в тысячу акров, а на пожарище

остался только каретный сарай да яма — бывший погреб.

Случилось все это в 1910 году — за четыре года до первой мировой войны.

■ Итак, отец явился в Академию изящных искусств с папкой рисунков, созданных в Мидлэнд-Сити. Я сам видел часть этих произведений — после смерти отца мама иногда с грустью перебирала их. Отец хорошо владел штриховкой, умел передать складки на драпировках — видно, Август Гюнтер был мастер по этой части. Но почти все на рисунках отца как-то смахивало на цементные изделия — цементная дама в цементном платье прогуливалась по цементному песику, на лугу паслось цементное стадо, цементная ваза с цементными фруктами стояла на окне с цементными портьерами и так далее.

В портретах сходства он тоже добиться не мог. Он показал в Академии несколько портретов своей матери, и я, глядя на них, совершенно не мог представить, как она выглядела на самом деле. Ее смотровой глазок закрылся задолго до того, как открылся мой. Я только знаю, что найти среди ее портретов хоть два схожих между собой было невозможно.

Отца просили зайти в Академию недели через две за ответом, примут его туда или нет.

Он тогда одевался в лохмотья, подпоясывался веревкой, ходил в залатанных штанах и так далее — хотя получал из дому огромные деньги. Вена была столицей великой империи, на улицах было много военных в роскошных мундирах и людей в самых экзотических костюмах, вино лилось рекой, повсюду гремела музыка, и отцу казалось, что идет настоящий карнавал. Вот он и решил нарядиться в маскарадный костюм "голодающий художник". Смеху будет!

Наверное, он был очень хорош собой, потому что лет через двадцать пять, когда я его, так сказать, увидел своими глазами, он был самым красивым мужчиной в Мидлэнд-Сити. До самой смерти он был строен и подтянут. Росту в нем было шесть футов. Глаза синие-синие. А волосы золотистые, кудрявые, и его кудри ничуть не поредели до самого того часа, когда закрылся его смотровой глазок и он перестал быть Отто Вальцем и снова стал одним из комочков аморфного небытия.

18

Как было условлено, он зашел в Академию через две недели, и профессор вернул ему папку с рисунками, добавив, что его работы нелепы до смешного. Вместе с ним пришел еще один молодой человек, тоже очень обтрепанный, и ему тоже с презрением вернули его работы.

Звали этого типа Адольф Гитлер. Он был урожденный к австриец. Приехал из города Линца.

Отец до того разозлился на профессора, что тут же отомстил ему. Он попросил показать Гитлера свои работы и просмотрел их на глазах у профессора, потом взял наугад одну картинку, сказал, что это гениальное произведение, и на месте купил ее у Гитлера, заплатив наличными больше, чем профессор, вероятно, мог бы заработать за месяц, а то и за несколько месяцев.

Примерно за час до этого Гитлер загнал свое пальто, чтобы хоть чего-нибудь перекусить, а ведь зима была не за горами. Значит, если бы не мой папаша, Гитлер, может, помер бы с голоду или от воспаления легких еще в 1910 году.

Отец и Гитлер даже подружились — бывает, что людей так сводит жизнь, — они утешали друг дружку, развлекали, посмеивались над мзтрами, не признававшими их, и так далее. Я знаю, что они несколько раз совершали вдвоем длинные пешие походы. Об их сердечной дружбе я узнал от мамы. Когда я, с годами, заинтересовался прошлым моего отца, уже назревала вторая мировая война и отец молчал как рыба о своей бывшей дружбе с Гитлером.

Подумать только: мой отец мог придушить самое мерзкое чудовище двадцатого века, мог бы просто дать ему умереть с голоду или замерзнуть под забором. А он вместо этого стал закадычным другом Гитлера.

Вот мое главное возражение против жизни как таковой: слишком уж много самых чудовищных ошибок можно совершить, пока живешь на свете.

■ Акварель, купленную моим отцом у Гитлера, и теперь считают лучшей работой чудовища, пока оно было художником; картинка долго висела над кроватью моих родителей в Мидлэнд-Сити, штат Огайо. Она называлась "Миноритская церковь в Вене".

19

2

Отца очень хорошо принимали в Вене, и все знакомые считали, что он американский миллионер, который живет под видом нищего художника, он там и развлекался почти четыре года. В августе четырнадцатого года, когда вспыхнула первая мировая война, он вообразил, что карнавал теперь превратился просто в пикник на свежем воздухе, где-нибудь за городом. Он был так счастлив, так наивен, так доволен собой, что попросил своих влиятельных друзей помочь ему вступить в венгерскую лейб-гвардию, где при офицерской форме полагалось носить шкуру барса.

Он был просто влюблен в эту барсову шкуру.

Но его вызвал к себе американский посол в Австро-Венгерской империи, некий Генри Клауз, который был родом из Кливленда и хорошо знал родителей моего отца. Тогда отцу было двадцать два года. Клауз объяснил отцу, что он потеряет американское гражданство, если вступит в ряды иностранной армии, и что он, посол, навел справки об отце и узнал, что он совсем не такой художник, каким себя воображает, что он сорит деньгами, как пьяный матрос, и что обо всем этом посол сообщил родителям отца, уведомив их, что сынок совершенно потерял представление о действительности и что пора его срочно вызвать домой и определить на какую-нибудь приличную работу.

— А если я откажусь? — спросил отец.

— В таком случае ваши родители решили больше вам денег не посылать, — сказал Клауз.

И отцу пришлось возвратиться домой.

■ Не думаю, чтобы он надолго задержался в Мидлэнд-Сити, если бы не помпезный каретный сарай — единственное, что осталось от его родного дома. Он был шестиугольный. Он был каменный. Крыша на нем была шатровая, крытая шифером. Изнутри она опиралась на прочные дубовые балки. Все сооружение напоминало небольшой кусочек Европы, перенесенный на юго-запад штата Огайо. Это был подарок моего прадеда Вальца молодой жене, тосковавшей по родному Гамбургу. Все строение, до последнего камня, было точной копией картинки из любимой прабабушкиной книги немецких сказок.

Оно сохранилось до сих пор.

Однажды я водил по этому сооружению искусствоведа из Огайского университета, что в Афинах, штат Огайо. Он сказал, что оно похоже на амбар, построенный в средние века на развалинах римской сторожевой башни времен Юлия Цезаря.

20

А Цезаря-то убили две тысячи лет тому назад. Подумать только...

■ Я думаю, что мой отец все же был не совсем бездарным художником. Как и его приятель Гитлер, он питал слабость к романтической архитектуре. Он стал перестраивать каретный сарай под студию художника, достойную нового Леонардо да Винчи, каким считала отца обожавшая его мать.

— Бабка твоя совсем ума лишилась, — говорила мне мама.

■ Иногда я думаю, что у меня была бы совсем другая психика, если бы я вырос в обыкновенном маленьком американском домике — если бы наш дом был не таким огромным.

Отец распродал все экипажи, стоявшие в сарае, — сани, дрожки, фаэтон, карету, да мало ли что там было. Потом он велел сломать стенки всех десяти денников и комнаты для упряжи. Теперь он мог расположиться в огромном помещении; такого простора и таких высоких потолков не было ни в одной церкви и ни в одном официальном учреждении Мидлэнд-Сити.

Можно ли было там играть в баскетбол? Баскетбольная площадка имеет двадцать восемь метров в длину и пятнадцать в ширину. А дом, где прошло мое детство, имел всего двадцать четыре метра в диаметре. Так что он метра на четыре не дотянул до баскетбольной площадки.

■ В этом каретнике было двое ворот, куда легко могла бы въехать карета четверней: одни ворота выходили на юг, другие — на север. Отец велел снять створки северных ворот, и его старый наставник Август Гюнтер сделал из них два стола — обеденный стол и рабочий стол для отца, где он разложил на виду свои краски, кисти, мастихины, палочки угля и так далее.

Пролет застеклили — до сих пор это самое большое окно во всем Мидлэнд-Сити; свет падал с северной стороны — при таком освещении любили писать все великие художники.

И перед этим окном стоял мольберт отца.

■ Да, он снова связался с малопочтенным Августом Гюнтером, которому уже давно перевалило за шестьдесят. У старо-

21

го Гюнтера была только одна дочь, Грэйс, так что к моему отцу он относился как к родному сыну. И более подходящего сына для Гюнтера трудно было себе представить.

Тогда мама была еще совсем девчушкой и жила она в особняке по соседству. Она до смерти боялась старика Гюнтера. Ей внушили, что все

хорошие девочки должны убегать от него. И до самой смерти мама вздрагивала, когда при ней поминали Августа Гюнтера. Для нее он был пугалом. Она его боялась, как лешего.

Надо добавить, что отец закрыл ворота, выходившие на юг: запер их на засов, и рабочие законопатили все щели, чтобы не дуло. А потом Август Гюнтер сделал входную дверь. Это был вход в студию моего отца, где мне предстояло провести детство.

Над огромным помещением шла широкая шестиугольная галерея. Ее разделили перегородками, устроили там спальни, ваннные комнаты и небольшую библиотеку.

Выше был чердак под шатровой крышей, крытой шифером. Отцу чердак, как видно, поначалу был не нужен, и он не стал его переделывать.

Все это было ужасно непрактично, но мне кажется, что отец именно этого и добивался.

Отец был в таком восторге от огромного пространства, от пола, мощенного булыжником по песчаному грунту, что и кухню собирался перенести на галерею. Но тогда прислуге пришлось бы возиться рядом во спальнями, и вся эта возня, да и кухонные запахи мешали бы нам спать. А подвального помещения для кухни не было.

Так что отцу пришлось скрепя сердце поместить кухню внизу, приткнуть ее под галерею и отгородить старыми досками. Там было тесно и душно. Но я полюбил эту кухню. Мне там было так спокойно, так уютно.

■ Многим людям казалось, что в нашем доме нечисто; и в самом деле, когда я родился, у нас чердак был заполнен силами зла. Там хранилась целая коллекция — более трехсот образцов старинного и современного огнестрельного оружия. Отец закупил все это в 1922 году, когда они с мамой проводили свой полугодовой медовый месяц, путешествуя по Европе. Отец не мог налюбоваться на все эти ружья, а ведь они были не лучше, чем кобры или гремучие змеи.

Они несли смерть.

22

3

Смотровой глазок моей матери открылся в Мидлэнд-Си-ти в 1901 году. Она была на девять лет моложе отца. Как и он, мама была единственным ребенком в семье. Она была дочерью Ричарда Ветцеля — основателя и главного акционера мидлэнд-ского отделения Национального банка. Ее звали Эмма.

Родилась она в роскошном особняке, где было множество слуг, рядом с домом, где вырос мой отец, но четыре года тому назад, в 1978 году, когда мы с ней жили в тесной конур-ке "нужничке" в предместье Мидлэнд-Сити под названием Эвондейл, она умерла в полной нищете.

■ Она помнила, как горел родной дом моего отца, — ей тогда было девять лет, а мой отец ехал учиться в Вену. Но гораздо более сильное впечатление, чем этот пожар, на нее произвел мой отец, когда он, вернувшись из Вены, осматривал каретный сарай, обдумывая, как перестроить его под мастерскую.

Впервые она увидела его сквозь живую изгородь, проходившую между их участками. Она была длинноногой, большеротой тринадцатилетней девчонкой и никогда в жизни не видала на мужчинах ничего, кроме рабочих комбинезонов и будничных пиджаков. Ее родители говорили про моего отца с восхищением — он был из прекрасной и к тому же бога-- той семьи. Они в шутку сказали девочке, что хорошо бы ей, когда она вырастет, выйти за него замуж.

И когда она поглядела на него в просвет, у нее бешено забилося сердце. Господи боже! Он был в алом, шитом серебром мундире, с плеча спускалась шкура барса, а на голове красовался соболий кивер с пурпурным султаном.

Эту форму он привез домой вместе с другими сувенирами из Вены, это был парадный мундир майора венгерской лейб-гвардии, в которую ему так хотелось вступить.

■ Но лейб-гвардейские полки Австро-Венгрии, вероятно, в те дни уже переоделись в серую походную форму.

Приятель отца, Адольф Гитлер, австриец по происхождению, как-то ухитрился попасть не в австрийскую, а в германскую армию, потому что он всегда восхищался немцами и Германией. Он тогда уже носил серую походную форму.

23

В то время мой отец жил с родителями под Шепердс-тауном, но все свои сувениры хранил в старом каретном сарае. И в тот день, когда моя мама увидела его в форме, он раскрывал все чемоданы и сундуки вместе со своим прежним наставником Августом Гюнтером. Он нарядился в парадную форму, чтобы позабавить этого Гюнтера.

Они вынесли стол из сарая. Им захотелось позавтракать в тени старого каштана. Они принесли с собой пиво, хлеб и колбасу, сыр и жареную курицу — все это было местного произв-ва. Кстати, этот сорт сыра назывался "Лидеркранц", и все думают, что это импортный сыр, из Европы. На самом деле этот сыр стали впервые делать в Мидлэнд-Сити, штат Огайо, примерно в 1865 году.

И вот отец, усаживаясь со старым Гюнтером за стол и предвкушая хороший завтрак, вдруг заметил, что сквозь живую изгородь на них с любопытством смотрит маленькая девочка, и он стал громко подшучивать над ней. Он сказал Гюнтеру, что давно не был дома и забыл, как называются американские птички. Вон там в кустах какая-то птичка, сказал он, потом стал описывать маму, как будто она была птичкой, и спросил у старика Гюнтера, как такие птички называются.

Потом он направился к "пташке" с кусочком хлеба и спрашивал: едят ли такие маленькие птички хлеб? Но мама сразу сбежала домой.

Она сама мне об этом рассказывала. И отец рассказывал.

Но вскоре она снова прибежала в сад и нашла другое место, откуда было удобно подсматривать за ними так, чтобы они ее не замечали. На этот завтрак пожаловали еще два очень странных человека. Это были невысокие смуглые юноши, очевидно только что перешедшие вброд реку. Они были босиком, и штаны у них намокли выше колен. Мама никогда ничего подобного не видела, и вот почему: это были родные братья-итальянцы, а раньше в Мидлэнд-Сити итальянцев не видывали.

Это были восемнадцатилетний Джино Маритимо и его брат, двадцатилетний Марко Маритимо. С ними стряслась ужасная беда. Их не только никто не приглашал на завтрак — их и в Соединенные Штаты никто не звал. Еще тридцать шесть часов назад они были кочегарами на итальянском грузовом пароходе, стоявшем под погрузкой в Ньюпорт-Ньюсе, в шта-

24

те Виргиния. Они удрали с корабля, чтобы не угодить на воен-ую службу у себя на родине, ну и потому, что в Америке улицы вымощены золотом. По-английски они не знали ни слова.

В Ньюпорт-Ньюсе другие итальянцы забросили их, вместе с их картонными чемоданишками, в пустой товарный вагон поезда, отправлявшегося в неизвестном направлении. Поезд тронулся сразу. Солнце закатилось. Ночь стояла безлунная, беззвездная. Америка была сплошной тьмой и перестуком колес.

Откуда я узнал? Джино и Марко Маритимо на старости лет сами рассказали мне об этом.

Где-то — может, в Западной Виргинии — из этой беспросветной тьмы возникли четверо американских бродяг, ворвались в вагон к Марко и Джино и, пригрозив ножами, отобрали у них чемоданчики, пальто, шляпы и башмаки.

Братьям еще повезло — им запросто могли перерезать глотки, просто так, для забавы. Кому какое дело?

Как им хотелось тогда, чтобы их смотровые глазки захлопнулись! А кошмар длился и длился. Поезд останавливался не раз, но вокруг было так гнусно, что Джино и Марко не могли заставить себя выйти из вагона и остаться жить в таких мерзких местах. Но вскоре два железнодорожных сыщика с длинными дубинками вышвырнули их на одной из станций, и, хочешь не хочешь, им пришлось высадиться в пригороде Мид-лэнд-Сити, по ту сторону Сахарной реки.

Их мучила жажда, они совсем изголодались. Им оставалось либо ждать смерти, либо что-то придумать. И они придумали. На другом берегу реки они увидели шатровую крышу, крытую шифером, и пошли туда. Чтобы заставить себя переставлять ноги и куда-то идти, они внушили себе, что им во что бы то ни стало надо добраться именно до этого дома.

Они перешли Сахарную речку вброд, боясь идти по мосту, чтобы не попасться кому-нибудь на глаза. Будь Сахарная речка поглубже, они бросились бы вплавь.

Тут-то они и удивились, не меньше, чем моя матушка, когда перед ними вдруг оказался молодой человек в алом, шитом серебром мундире и в соболевом кивере.

Когда отец взглянул на них — он сидел на скамье, под деревом, — Джино, младший из братьев, всегда верховодивший, сказал по-итальянски, что они изголодались и согласны на любую работу, если их накормят.

25

Отец ответил им по-итальянски. Он хорошо знал еще несколько языков, свободно говорил по-французски, по-немецки и даже по-испански. Он предложил братьям присесть на скамью и поесть вволю, если они и вправду так проголодались. Он добавил, что нельзя допускать, чтобы люди голодали.

Им показалось, что перед ними какое-то божество. А ему ничего не стоило стать для них божеством.

Когда они наелись, он провел их на чердак над галереей, в наш будущий арсенал. Там стояли две старые койки. В окошечки в куполе лился свет, веял свежий ветерок. Стремянка, крепко привинченная к полу посередине чердака, вела вверх, в купол. Отец сказал братьям, что они могут пожить тут, пока не найдут чего-нибудь получше.

Он добавил, что внизу, в сундуках, лежат старые башмаки, свитера и всякая другая одежда: может, им что-нибудь пригодится.

На следующий день он дал им работу — рушить перегородки между стойлами и стенку комнаты для упряжи.

И хотя братья Маритимо впоследствии стали богатыми и весьма влиятельными людьми, а мой отец обнищал и впал в полное ничтожество, для братьев он как был, так и остался божеством.

4

И вот тогда-то, еще до того, как Америка вступила в первую мировую войну против Германской империи, и Австро-Венгерской империи, и Османской империи, смотровые глазки отцовских родителей навек закрылись от угара — что-то испортилось в отопительной системе на их ферме, под Шепердс-тауном.

И мой отец стал главным акционером их семейной фармацевтической фирмы "Братья Вальц", но сам ничего в нее не вложил — разве что насмешку и презрение.

Отец являлся на собрания акционеров в берете, в заляпанном красками халате и сандалиях, приводил туда старика Августа Гюнтера, называя его своим адвокатом, и утверждал, что оба дяди и все их сынки, фактически управлявшие делами фирмы, — люди невыносимо провинциальные, лишённые всякого чувства юмора, одержимые только жадной наживы и так далее.

Он спрашивал их, когда же они перестанут отравлять своих сограждан — и так далее. В то время его дядюшки со своими сыновьями открыли первые аптеки-закусочные по всему штату: они особенно гордились своими прохладительными напитками и не жалели затрат, чтобы их мороженое бы-

26

ло на уровне мировых стандартов. А мой отец в насмешку всегда спрашивал их, почему в аптеке братьев Вальц мороженое на вкус точь-в-точь крахмальный клейстер — и так далее.

Понимаете, он был художником, и его интересовали куда более великие дела, чем какое-то там аптекарское дело.

Кстати, теперь, пожалуй, пора сказать, какую профессию выбрал я сам. Угадайте-ка! Я, Руди Вальц, сын великого художника Отто Вальца, стал дипломированным фармацевтом.

■ Тогда-то конец тяжелой дубовой балки и упал на левую ногу отца. Вышло это по пьяному делу. Во время шумной пирушки в студии, где валялось много всяких инструментов и строительных материалов, отцу вдруг пришла в голову блестящая мысль, которую надо было безотлагательно осуществить. Во что бы то ни стало надо было заставить подвыпившую компанию взяться за работу под руководством моего папаши, и тут молодой владелец молочной фермы, по имени Джон Форчун, выпустил из рук конец балки. Балка упала отцу на ногу, раздробив кости стопы. Два пальца захватил некроз, их пришлось ампутировать.

Так что, когда Америка вступила в первую мировую войну, отца признали непригодным к военной службе.

■ Однажды отец, уже стариком, после того как он отсидел два года в тюрьме и они с матерью совсем разорились — у них отсудили все деньги и все собрание картин и других произведений искусства, — сказал мне, что для него самым большим разочарованием в жизни было то, что он никогда не служил в армии. Это была едва ли не последняя из его иллюзий: он считал, что рожден для великих подвигов на поле брани, и кто знает — может, так оно и было.

До конца жизни он, разумеется, завидовал Джону Форчу-ну. Человек, раздробивший ему стопу, стал героем в траншеях первой мировой войны, и отца огорчало, что он не сражался плечом к плечу с ним, чтобы, как он, вернуться домой с медалями на груди. Единственной наградой, имевшей хотя бы отдаленное касательство к военным почестям, была похвальная грамота от губернатора штата Огайо за организацию сбора утиля в округе Мидлэнд во время второй мировой войны. Торжественной церемонии не было. Грамота просто пришла по почте — и все.

Когда эту награду прислали, отец сидел в тюрьме, в Шепердстауне. Мы с мамой привезли ему эту грамоту на очередное свидание. Мне было тогда тринадцать лет. Лучше бы,

мы ее сожгли и развеяли пепел по Сахарной речке. Для отца грамота была самым злым издевательством.

— Наконец-то я причислен к сонму бессмертных, — сказал

отец. — Теперь мне осталось мечтать только о двух отличиях.

Первое, — сказал он, — стать зарегистрированной собакой, а

второе — получить место в нотариальной конторе.

Тут отец попросил у нас эту бумажку, чтобы при первой возможности употребить ее вместо туалетной бумаги, что он и не преминул сделать.

В тот день, вместо того чтобы сказать нам "До свидания!", он произнес, торжественно подняв палец:

- Зов природы!

■

И тогда же, осенью 1916 года, старый мошенник Август Понтер погиб при чрезвычайно загадочных обстоятельствах. Поднялся он спозаранку, часа за два до рассвета, приготовил себе сытный завтрак, скушал его с аппетитом, пока жена и дочь еще крепко спали. Он вышел из дому с охотничьей двустволкой, подаренной моим отцом, собираясь встретиться с ним, с Джоном Форчуном и еще кое с кем из местной молодежи у засидок на краю луга на ферме отца Джона Форчуна. Они хотели пострелять диких гусей, заночевавших на тихих заводях Сахарной речки и на Хрустальном озере. На лугу была заранее рассыпана привада — дробленая кукуруза.

До места встречи он не дошел — во всяком случае, так говорят.

Значит, он погиб где-то по дороге; ему надо было пройти пять миль до места встречи да еще перейти по мосту Сахарную речку. А через месяц его тело без головы нашли в устье Сахарной речки, чуть западнее Цинциннати, — оно едва не уплыло вниз по Миссисипи, и дальше, в Мексиканский залив, и еще дальше, в океан.

Далековато от Мидлэнд-Сити!

Когда я был еще малышом, загадочная история обезглавленного Августа Гюнтера, погибшего давным-давно, за шестнадцать лет до моего рождения, все еще была самым легендарным из нераскрытых преступлений в моем родном городе. И у меня зародилась жуткая мечта. Я вообразил, что прославлюсь, стану героем моего родного города, если отыщу пропавшую голову Августа Гюнтера. После этого преступник, конечно, волей-неволей сознается, и его постигнет заслуженная кара и так далее, а мэр нашего города нацепит мне на грудь медаль.

Я и не подозревал в те далекие времена, что меня самого, Руди Вальца, на весь свет ославят убийцей и наградят прозвищем Малый Не Промах.

■

Мои родители поженились в 1922 году, через четыре года после первой мировой войны. Отцу было тридцать, матери — двадцать один. Мама окончила колледж в Оберлине, штат Огайо, и получила степень бакалавра гуманитарных наук. Отец всегда старался дать понять людям, будто он учился в одном из прославленных университетов Европы, а на самом деле окончил только среднюю школу. Однако он вполне мог бы часами читать лекции и по истории, и по расовому вопросу, и по биологии, даже по искусству и политике, хотя сам редко брал книгу в руки. Все свои мнения и знания он натаскал по клочкам из того запаса информации и дезинформации, который имелся у его дружков и собутыльников в Вене, еще до первой мировой войны.

И, само собой, одним из этих дружков был Гитлер.

■

Свадьбу сыграли и прием устроили в особняке Ветцелей, рядом со студией отца. И Ветцели и Вальцы гордились своим свободомыслием, так что брак был гражданским и его регистрировал судья. Шафером у отца был Джон Форчун, герой войны и владелец молочной фермы. Подружками мамы были ее соученицы по колледжу.

Ближайшие родственники отца, его дядья и двоюродные братья, которые зарабатывали для него деньги, пришли на свадьбу со своими женами, пробыли на торжественном приеме несколько минут, вели себя вполне корректно, но весьма холодно и все сразу ушли. Отец сам был виноват, что они его так ненавидели.

Как вспоминала мама, отец сказал оставшимся гостям, что родственникам пора обратно в лавку. Он расхохотался им вслед.

Что с него возьмешь — богема!

■

Они с мамой уехали в Европу и провели там свой медовый месяц, длившийся полгода. Пока они путешествовали, фирма "Братья Вальц" переехала в Чикаго — там у них уже была фабрика косметических товаров и три аптеки.

Когда мама с отцом вернулись домой, в городе, кроме них, никого из Вальцев уже не осталось.

■ Именно во время этого медового месяца отец и приобрел

29

свою знаменитую коллекцию огнестрельного оружия или ее львиную долю — он закупил ее оптом. Они с мамой побывали в гостях у родственников одного из старых друзей отца, Рудольфа фон Фюрстенберга. Его родные жили около австрийского города Зальцбурга. Рудольф был убит на войне, так же как его отец и два брата, и меня называли Рудольфом в его честь. В живых осталась его мать и младший брат, но они были вконец разорены. Все их имение пошло с молотка.

И мой отец купил у них коллекцию оружия — больше трехсот единиц; там было собрано все огнестрельное оружие, от самых первых образцов примерно по 1914 год. Там было и американское оружие, в том числе револьвер "кольт" калибра 11,43 и винтовка "спрингфилд" калибра 7,62, особенно мощная; отец научил меня стрелять, смягчать сильную отдачу, чистить, разбирать и собирать их с завязанными глазами — а было мне тогда только десять лет.

Спасибо ему большое...

■ Мать с отцом еще накупили у фон Фюрстенбергов кучу мебели, постельное белье, хрусталь и всякие старинные алебарды, мечи, кольчуги, шлемы и щиты.

Мы с братом были зачаты на фамильном ложе фон Фюрстенбергов, с гербом в изголовье, под висевшей на стене акварелью "Миноритская церковь в Вене" кисти Адольфа Гитлера.

■ Во время медового месяца мои родители разыскивали Гитлера, но он в то время сидел в тюрьме.

На войне Гитлер получил чин ефрейтора и Железный крест за доставку донесений под огнем в штаб. Вышло так, что у отца оказались друзья — герои войны и по ту, и по другую сторону фронта.

■ Мои родители приобрели еще и флюгер с привратной башни у въезда в поместье фон Фюрстенбергов и водрузили его на купол своего жилища, так что он стал виден отовсюду — выше были только окружной суд, несколько силосных башен, амбар на молочной ферме Форчунов и здание мидлэндского отделения Национального банка.

Этот флюгер стал сразу самым знаменитым произведе-

30

нием искусства в Мидлэнд-Сити. Соперничать с ним могла только статуя американского солдата у входа в парк Фэйр-чайлда. Стрела флюгера была длиной больше трех метров, и по этому сногшибательному древку один пустотелый всадник гнался за другим. Это был австриец с пикой. А впереди скакал, спасаясь от смерти, турок с кривой саблей.

Этот флюгер, показывавший то в сторону Детройта, то в сторону Луисвилла и так далее, был создан в память снятия турецкой осады Вены в 1683 году.

Когда я был маленьким, я попросил своего брата Феликса — он был старше меня на семь лет и всегда врал мне напропалую — рассказать мне и моему приятелю, что этот флюгер означает. Тогда брат был уже старшеклассником. У него уже появился прекрасный бархатный бас, благодаря которому он потом стал знаменитым диктором телевидения и радио.

— Если бы австрийцы не победили, — рокочущим басом объяснял он, — мама до сих пор была бы в гареме. А наш отец служил бы банщиком в турецких банях — подавал бы там полотенца, а тебя, и меня, и твоего дружка, наверное, выхолостили бы.

Тогда я верил каждому его слову.

5

Адольф Гитлер стал канцлером Германии в 1933 году, когда мне исполнился год. Отец, не выдавший его с 1914 года, послал ему сердечные поздравления и акварель кисти самого Гитлера — "Миноритская церковь в Вене" — в подарок.

Гитлер пришел в восторг. Он написал, что с любовью вспоминает отца, пригласил его к себе лично в гости, в Германию, и обещал показать ему "новый порядок", который он строил, надеясь, что этот порядок продержится лет тысячу, а то и дольше.

Мама, папа и Феликс, которому исполнилось девять лет, в 1934 году уехали на полгода в Германию, оставив меня на попечение наших слуг-негров. Зачем им было брать меня с собой? Мне было всего два года. Наверное, тогда я и решил, что наши слуги — моя самая близкая родня. Я мечтал научиться всему, что они так прекрасно умели делать: варить, печь пироги, мыть посуду и стелить постели, стирать и гладить, вскапывать землю в саду и так далее.

Я и сейчас совершенно счастлив, когда мне удастся приготовить вкусный обед и когда дом у нас блестит как стеклышко, а прибирал его я сам.

31

■ Я абсолютно не помню, как выглядели мои родичи, когда вернулись из Германии. Может быть, какой-нибудь гипнотизер пробудит у меня хоть одно воспоминание. Но я видел много фотографий отца с матерью в старых газетах, выходивших тогда в Мидлэнде, и в мамином альбоме, где она хранила их как память о счастливых днях. На маме — пестрое платье с широкой юбкой, в талию. На отце — короткие кожаные штаны и гольфы по колено. А на Феликсе, хотя он формально и не имел права на это, потому что никогда не принадлежал к фашистской организации, — форма с широким кожаным поясом-патронташем, повязкой со свастикой и кинжалом за поясом, форма гитлерюгенда. Если бы Феликс даже был немецким мальчиком, он все равно был еще слишком мал, чтобы носить эту форму, но отец специально заказал ее детскому портному в Берлине.

А почему бы и нет?

■ Сразу же по возвращении моих родственников домой, как писали об этом в нашей газете, отец водрузил драгоценный подарок Гитлера на стреле нашего флюгера. Это был нацистский флаг, огромный, как простыня.

Напомню: шел только 1934 год до второй мировой войны было еще далеко. Если считать пять лет большим сроком. Так что в то время поднять фашистский флаг в Мидлэнд-Сити можно было так же безнаказанно, как греческий, или ирландский, или конфедератский — словом, любой флаг. Это была игра, широкий жест, и мать уверяла, что весь город гордился и завидовал отцу, и ей, и Феликсу. В Мидлэнд-Сити ни у кого, кроме них, не было друга, управляющего целым государством.

Я сам тоже попал в газету. На фотографии запечатлена вся наша семья — все стоят на улице, перед домом, глядя вверх, на фашистский флаг. Меня держит на руках наша повариха, Мэри Гублер. Это она со временем научит меня жарить, варить и печь.

■ Кукурузные лепешки по рецепту Мэри Гублер. Смешать в миске полчашки муки, полторы чашки желтой кукурузной муки, чайную ложку соли, чайную ложку сахара и три чайные ложки соды. Добавить три взбитых яйца, чашку молока, полчашки сливок и полчашки растопленного масла. Выложить на хорошо смазанную маслом сковородку и выпекать 15 минут при 400°.

32

Нарезать квадратиками и подавать на стол горячими, завернув в салфетку.

■ Когда нас снимали для газеты, отцу было сорок два года. По словам мамы, он пережил в Германии глубокое духовное преображение. Он обрел новую цель и смысл жизни. Теперь ему было мало стать художником. Он хотел стать учителем, политическим деятелем. Он хотел сражаться в Америке за новый, родившийся в Германии социальный строй, который со временем станет спасением для всего человечества.

Он глубоко заблуждался.

■ Как приготовить соус к жаркому по рецепту Мэри Гублер: чашку мелко нарубленного лука и три мелко нарубленные головки чеснока потопить в кастрюльке до мягкости в четверти фунта сливочного масла. Добавить полчашки кетчупа, четверть чашки коричневого сахара, чайную ложку соли, две чайные ложки свежемолотого перца, щепотку "Табаско", столовую ложку лимонного сока, чайную ложку базилика и столовую ложку молотого красного перца.

Довести до кипения и подержать пять минут на малом огне.

■ Итак, два с лишним года отец читал лекции, показывал фильмы и слайды о новой Германии по всему Среднему Западу. Он рассказывал трогательные истории про своего друга Гитлера и разъяснял, что теории этого Гитлера насчет разных высших и низших рас основаны на простых химических формулах. Например, чистокровный еврей — одна формула. Чистокровный германец — другая. Скрестите поляка с негром — и получите интересный экземпляр рабочей особи.

Как подумаю про это, просто жуть берет.

Я помню, как нацистский флаг висел в нашей гостиной, — а может быть, мне только кажется, что я его видел. Слышал я об этом наверняка. Флаг сразу, уже с порога, бросался в глаза нашим гостям. Флаг был такой яркий. Все вокруг тускло по сравнению с ним — балки и каменные стены, большие столы, сделанные из створок ворот каретного сарая, силуэт грубого отцовского мольберта, похожий на гильотину, на фоне северного окна, средневековое оружие и доспехи, ржавеющие по углам.

33

■ Закрыв глаза, пытаюсь мысленно представить себе тот флаг. И не могу. Но при одном воспоминании меня бьет дрожь — в нашем доме везде, кроме кухни, зимой стоял жуткий холод.

■ Этот проклятый дом невозможно было натопить. Отцу нравились голые каменные стены, голые балки, на которые опиралась крыша над хранилищем оружия.

Даже в конце жизни, когда за отопление платил мой брат Феликс, отец и слышать не хотел ни о каком утеплении.

— Умру — тогда и утепляйтесь, — говорил он.

■ Ни мама, ни отец, ни Феликс никогда на холод не жаловались. Дома они очень тепло одевались и говорили, что во всех американских домах слишком жарко и что от этой жары замедляется кровообращение, люди становятся вялыми, тупыми и так далее.

Видимо, все это тоже входило в нацистский кодекс чести.

Меня заставляли выходить из моей кухоньки на сквозняки, гулявшие по всему нижнему этажу, — по-видимому, чтобы я стал закаленным и сильным. Но я снова пробирался на кухню, где было так тепло, так вкусно пахло. Там было очень весело — ведь это было единственное место в доме, где что-то делали, работали, хотя там было тесно, как в корабельном камбузе. А тем, кого обслуживали, тем, кто бездельничал, было предоставлено все огромное пространство в доме.

И в холодные дни, и даже в не очень большие холода почти вся негритянская прислуга, и дворник, и горничные набивались в тесную кухню, к поварихе и ко мне. Они любили сидеть в тесноте. В детстве, как они мне рассказывали, они спали на широченных кроватях все вместе, целая куча братишек и сестер. Мне казалось, что это было ужасно весело. Я и до сих пор считаю, что это ужасно весело.

Там, в этой тесной кухне, все болтали наперебой, говорили, говорили без конца и хохотали, хохотали до слез. И я тоже хохотал и болтал вместе со всеми. Они меня приняли в свою компанию. Я был славным мальчишкой. Все меня любили.

— Что скажете про эти дела, мистер Руди? — спрашивал меня кто-нибудь из слуг, и я что-то говорил, иногда невпопад,

34

но все делали вид, будто я изрек что-то очень важное или удачно сострил.

Если бы я умер в детстве, то, наверное, умер бы в полной уверенности, что жизнь — это наша маленькая кухня. Я отдал бы и теперь все на свете, чтобы вновь попасть в эту кухню — в самый холодный зимний день.

"О, дай мне вернуться в родную Виргинию..."

■ Потом нацистский флаг у нас спустили. Отец перестал разъезжать. По словам моего брата Феликса — он тогда был в восьмом классе, — отец даже перестал выходить из дому и отвечать на телефонные звонки и месяца три не читал писем. Он впал в такую глубокую депрессию, что все боялись, как бы он не покончил с собой, так что мама потихоньку вынула ключ от оружейной комнаты из его связки ключей. Но он этого даже не заметил. У него совсем пропала охота возиться со своим ненаглядным оружием.

Феликс говорит, что отец мог бы впасть в депрессию и без того, что творилось вокруг. Но письма, которые он получал, и телефонные звонки становились все более угрожающими, к нему зачастили агенты ФБР — все требовали, чтобы он зарегистрировался как агент иностранной державы в соответствии с законами нашей страны. Чеювек, который был шафером у него на свадьбе, тот самый Джон Форчун, перестал с ним разговаривать и рассказывал всем и каждому, что отец — человек бесхарактерный, но опасный.

Так оно и было.

Сам Форчун был по происхождению чистокровный немец. Его фамилия — точный перевод на английский язык слова "глюк", что по-немецки значит "удача, счастье".

Этот Форчун так и не дал отцу возможности помириться с ним, потому что в 1938 году он вдруг отправился в Гималаи на поиски истинного счастья и высшей мудрости — словом, того, чего он не мог обрести в Мидлэнд-Сити, штат Огайо. Его жена умерла от рака. Детей у него не было. Очевидно, кто-то из них — он сам или его жена — страдал бесплодием. Молочная ферма, которой эта семья долго владела, обанкро-

тилась, и ее отобрало мидлэндское отделение Национального банка.

А Джона Форчуна похоронили в рабочем комбинезоне — в столице Непала, городе Катманду.

35

6

После взрыва нейтронной бомбы в Мидлэнд-Сити не осталось ни одной живой души. Дней десять все газеты только об этом и писали. Шуму могло быть и побольше, если бы этот взрыв развязал третью мировую войну, но наше правительство поспешило заверить, что бомба была американского производства. В одном из выпусков последних известий — я слушал его по радио здесь, в Гаити, — ее даже называли "своя, родная бомба".

Вот официальная версия этого происшествия: американский грузовик перевозил эту американскую бомбу по государственной магистрали, и бомба взорвалась. Считается, что это — несчастный случай. Как будто грузовик (если он и вправду был) проезжал мимо новой гостиницы "Отдых туриста" возле гуверовского "Парка "понтаиков" у Одиннадцатого поворота", когда взорвалась эта бомба.

Все население округа погибло, в том числе и пятеро преступников, ожидавших казни в камере смертников в исправительной колонии для взрослых, в Шепердстауне. Да, я разом потерял множество знакомых.

Но строения почти все уцелели, так и стоят, со всей обстановкой. Я слышал, что все телевизоры в гостинице "Отдых туриста" работают безотказно. И телефоны — тоже. И холодильная установка за стойкой бара по-прежнему в полном порядке. Все эти весьма чувствительные приборы находились всего в нескольких сотнях ярдов от центра взрыва.

В Мидлэнд-Сити, штат Огайо, теперь никто не живет. Погибло около ста тысяч человек. Это приблизительно равно населению Афин при Перикле, в Золотом веке. И двум третям населения Катманду.

И я никак не могу удержаться, чтобы не задать вот какой вопрос: значит, для кого-нибудь или для чего-нибудь нужно было, чтобы целая россыпь смотровых глазков закрылась в мгновение ока? А раз движимое и недвижимое имущество не пострадало, то, может быть, мир и не потерял ничего стоящего?

- Мидлэнд-Сити, штат Огайо, от радиации чист. Новые жители могут въезжать хоть сейчас. Говорят, что город отдадут беженцам из Гаити. Счастливого новоселья!

36

- Там стоит Центр искусств. Уж если бы нейтронная бомба повреждала и строения, то прежде всего она опрокинула бы Центр искусств имени Милдред Бэрри, здание с виду такое незащищенное — хрупкий белый шар на четырех тонких опорах посреди Сахарной речки.

Этим помещением никто никогда не пользовался. Стены его совершенно голые. Как замечательно могли бы их использовать гаитяне — самые плодовитые художники и скульпторы в истории человечества!

Пусть бы самый талантливый из них восстановил студию моего отца. Пора настоящему художнику занять эту студию — ведь там такое чудесное освещение, с северной стороны.

- Гаитяне говорят на креольском диалекте, это диалект французского языка, в котором есть только одно время — настоящее. Я прожил в Гаити с братом почти полгода и уже могу объясняться на этом языке. Мы с Феликсом содержим там гостиницу. Мы купили отель "Олоффсон", похожий на пряничный домик. Стоит он у подножия скалы в Порт-о-Пренсе.

Представьте себе, что такое язык с одним только настоящим временем. Наш метрдотель Ипполит Поль де Милль, который говорит, что ему восемьдесят лет и у него пятьдесят девять потомков, как-то стал расспрашивать меня о моем отце.

—Он мертвый? — спросил он по-креольски.

—Мертвый, — подтвердил я. Спорить тут не приходилось.

—А что он делает? — спросил он.

—Пишет картины, — сказал я.

—Он мне нравится, — сказал он.

- Свежая рыба в кокосовом соусе по-гаитянски. Две чашки тертого кокосового ореха завернуть в марлю; держа над мисочкой, облить чашкой горячего молока и отжать насухо. Еще два раза облить горячим молоком. Получается соус.

К фунту мелко нарезанного лука добавить чайную ложку соли, пол-ложки черного перца горошком и чайную ложку молотого перца. Пассеровать в масле, пока не станет мягче, но не подрумянивать. Четыре фунта свежей рыбы нарезать кусочками и слегка обжарить в течение двух-трех минут. Залить рыбу соусом, закрыть кастрюльку крышкой, держать на малом огне десять минут. Открыть кастрюльку, тушить рыбу до готовности, пока соус не загустеет.

37

Рассчитано на восемь гостей гранд-отеля "Олоффсон", которые немного не в духе.

■ Представьте себе язык, в котором одно только настоящее время. Или представьте себе моего отца, который жил весь в прошлом. Фактически он провел большую часть своей взрослой жизни, кроме последних пятнадцати лет, за столиком венского кафе перед первой мировой войной. Он навсегда остался юнцом лет двадцати или около того. Вот-вот он начнет писать шедевры. Вот-вот станет отчаянным рубахой. Пылким любовником, философом и благородным человеком он уже стал.

По-моему, он никогда не замечал, что живет в Мидлэнд-Сити, пока я не стал убийцей. Казалось, что он живет, как космонавт, в скафандре, дыша атмосферой довоенной Вены. Он так нелепо разговаривал с моими друзьями и товарищами Феликса, когда мы по глупости приводили их к себе домой. Я-то хоть не пережил того, что пришлось вынести Феликсу, когда он еще был в младших классах. В те годы отец обычно приветствовал его гостей салютом "Хайль Гитлер!" и ждал, что они тоже ответят ему "Хайль Гитлер!", и это все казалось ему веселой игрой.

— Господи боже, — сказал мне на днях Феликс, — мало того, что мы были самыми богатыми мальчишками в городе, где всем жилось очень нелегко, мало того, что у нас висело по стенам все это ржавое средневековое дерьмо и дом был похож на камеру пыток. Надо же было, чтобы наш папаша встречал всех без исключения, даже Иззи Финкельштейна, криком "Хайль Гитлер!".

■ Кстати, о том, сколько у нас тогда было денег, несмотря на Великую депрессию: отец продал все свои акции семейной фармацевтической фирмы еще в двадцатых годах, так что, когда во время депрессии аптеки "Братьев Вальц" прогорели, он от этого не пострадал. Он купил акции фирмы "Кока-кола", на которой депрессия совершенно не отразилась. А у мамы сохранились все закладные в банке, которые она унаследовала от своего отца. И благодаря тому, что фермеры разорялись, все их отличные земли переходили к держателю закладных, так что эти бумаги были все равно что чистое золото.

Подфартило, что и говорить.

38

■ Но аптеки "Братьев Вальц" погубила не столько депрессия, сколько продажа бутербродов и прохладительных напитков. Нечего было фармацевтам лезть еще и в пищевую промышленность. Пусть этим занимаются те, кто любит это дело и знает в нем толк.

Отец часто рассказывал анекдот про мальчика, которого выгнали из фармацевтической школы за то, что он не умел делать тарталетки с разной начинкой.

■ Я слышал, что осталась еще одна аптека "Братьев Вальц" в Каире, штат Иллинойс. Конечно, она ни ко мне, ни к моим родственникам никакого отношения не имеет. Кажется, ее реставрировали вместе с другими старинными постройками. Находится она в очень милom квартале в центре Каира. Улицы там вымощены булыжником, как пол в моем родительском доме, и освещаются газовыми фонарями.

Восстановили там еще и старинную бильярдную, и старинное питейное заведение, даже старинную пожарную каланчу и старинную аптеку. Кто-то отыскал старую вывеску с аптеки "Братьев Вальц" и водрузил ее над входом.

Вышло очень забавно.

Мне говорили, что там внутри еще висит плакат, рекламирующий "Бальзам св. Эльма".

Конечно, никто не отважился бы в нынешнее время продавать этот бальзам — ведь он очень вреден людям. Вывеску повесили просто для смеху. Но зато у них в рецептурном отделе можно получить всякие барбитураты, и амфетамин, и метаквалон¹, и прочую пакость.

Да, наука на месте не стоит.

■ Когда я стал постарше и начал приводить своих друзей к нам домой, отец уже не поминал Гитлера. Наконец-то он понял, как изменилась теперь обстановка. Упоминание о Гитлере или о "новом порядке" в Германии с каждым днем все больше раздражало окружающих, так что лучше было выбирать для разговоров другие темы.

Я не собираюсь подтрунивать над моим отцом. Прежде чем увидеть свет, услышать звуки, он был таким же комочком аморфного небытия, как все мы.

¹ Сильнодействующие патентованные средства. — Здесь и далее примечания переводчиков.

Но он почему-то считал, что все мои товарищи отлично знакомы с греческой мифологией, с легендами о короле Артуре и рыцарях Круглого стола, с пьесами Шекспира и с "Дон Кихотом" Сервантеса, с "Фаустом" Гёте, с операми Вагнера и так далее и тому подобное. Без сомнения, обо всем этом шли оживленные споры в венских кафе до первой мировой войны.

И мой отец вполне мог спросить восьмилетнего сынишку рабочего с завода сельскохозяйственных машин:

— Ну что ты смотришь на меня, будто я Мефистофель? Думаешь, я вправдашний черт? А?

И ждал, что мой маленький гость ему ответит. И еще он мог сказать маленькой дочке швейцара в ХАМЛ¹, подавая ей стул:

Садись, дитя, на Трои Опасный...

Но вот осмелишься ли ты?

Почти все мои товарищи были из простых семей — после того как все богатые люди, кроме моих родителей, уехали отсюда, в этих местах поселились семьи бедняков. Отец даже мог сказать малышу:

— Знаешь, кто я? Я Дедал! Хочешь, я тебе сделаю крылья, полетишь со мной! Примкнем к стае гусей, полетим на юг. Только берегись, не приближайся к солнцу, это опасно. Знаешь почему? А?

И ждал, что мальчишка ему ответит.

Уже на смертном одре в городской больнице отец, перечисляя все свои недостатки и достоинства, сказал, что по крайней мере одного у него не отнимешь — он отлично ладил с детьми, и дети его любили.

— Я их понимаю! — добавил он.

■

Но как-то раз он встретил рекордным по нелепости приветствием уже не ребенка, а взрослую девушку — звали ее Селия Гилдрет. Она училась в выпускном классе, как и мой брат, и Феликс пригласил ее на бал выпускников. Вероятно, это было весной 1943 года — ровно за год до того, как я стал убийцей, точнее, дважды убийцей.

Шла вторая мировая война.

Феликс был председателем совета своего класса — и все потому, что у него был красивый бас. Сам Всевышний говорил его голосом — где устроить бал, нужно ли в классном ежегоднике писать под фотографиями не только фамилии, но и прозвища — и так далее. Кроме того, мой брат переживал любовную драму и делился со мной этими своими переживаниями,

¹ Христианская ассоциация молодых людей.

хотя мне было всего одиннадцать лет. Он окончательно порвал с Салли Фримен, девочкой, в которую был влюблен, и Салли, чтобы утешиться, влюбилась в Стива Адамса, капитана бейсбольной команды.

Председатель совета класса оказался без девушки перед самым балом, когда все девушки из хороших семей были уже приглашены.

И Феликс нашел блистательный выход. Он пригласил девушку, чьи родители принадлежали к самым низшим слоям общества, были неграмотные, безработные, а два ее брата сидели в тюрьме; сама она училась из рук вон плохо и ни в какой общественной жизни не принимала участия, но другой такой красавицы никто еще не видал.

Ее родители были белые, но такие нищие, что им приходилось жить в негритянском квартале. Да, еще вот что: немногие молодые люди, которые пытались за ней ухаживать, несмотря на ее положение в обществе, пустили слух, что хороша-то она хороша, только холодна как ледышка.

Вот какой была эта Селия Гилдрет.

Она даже не надеялась, что ее пригласят на бал. Но чудеса, несомненно, случаются. Золушки рождаются ежеминутно. И вот один из самых красивых, самых богатых, самых интересных мальчиков нашего города и к тому же председатель совета выпускного класса пригласил ее на бал.

■

Уже за несколько недель до бала Феликс без конца рассказывал, какая красавица Селия Гилдрет и какое неотразимое впечатление она

произведет на всех, когда он войдет с ней, ведя ее под руку, как кинозвезду. Наверное, все почувствуют себя дураками — как можно было до сих пор не замечать Селию!

Отец, слыша все это разговоры, решительно потребовал, чтобы Феликс перед балом привел Селию к нему в студию. Надо же ему взглянуть — он как-никак художник, — вправду ли эта Селия такая красавица, как утверждает Феликс. Мы с Феликсом к этому времени совсем перестали водить домой наших друзей. Но на этот раз отец нашел средство заставить Феликса познакомить его с Селией. Если Феликс не приведет ее, отец не даст ему машину. Пусть отправляется со своей Селией на бал в автобусе.

■ Рецепт гаитянского бананового супа. Взять два фунта козлятины или цыпленка, добавить полчашки мелко нарублен-

41

ного лука, чайную ложку соли, пол-ложки черного перца и щепотку молотого красного перца. Залить двумя квартами воды. Тушить час.

Затем добавить три очищенных клубня ямса и три очищенных банана, нарезанных кружочками. Тушить на малом огне, пока мясо не станет мягким. Вынуть мясо.

Получается восемь тарелок гаитянского бананового супа.

Bon appetit!¹

■ Отцу делать было нечего, как всегда, но он волновался перед этим балом, как самый безмозглый школяр. И все время декламировал:

Кто эта Селия? Чем хороша.

Что все ее так превозносят?

Или ни с того ни с сего, во время ужина, когда все молча ели, он вдруг заявлял:

— Нет, таких красавиц на свете не бывает! Не верю, что эта девушка прекраснее всех!

Напрасно Феликс говорил, что Селия вовсе не первая красавица мира. Феликс повторял сто раз: "Да она просто самая хорошенькая девушка в классе, папа, и все". Но отец представлял себе более серьезную противницу. Он, главный знаток и ценитель женской красоты в городе, должен был встретиться с несравненной красавицей, каких еще свет не видал.

Конечно, он в те дни не только руководил сбором утиля, но еще был уполномоченным противовоздушной обороны. И послал в военное министерство характеристику личности Гитлера, которого он теперь уже называл "феноменальным убийцей-маньяком". Но все же он чувствовал себя отсталым, бесцветным и так далее, особенно когда читал в газетах и слушал по радио сообщения о боевых победах или встречал на улицах людей в военной форме. Ему необходимо было подбодрить себя, чтобы совсем не пасть духом.

Это и была его тайна. Если бы Феликс догадался, он и на милое не подпустил бы Селию к нашему дому. Он отвез бы ее на бал в автобусе.

А вышло вот что: когда Селию привезли знакомиться с отцом, на нем была роскошная, алая с серебром, форма майора венгерской лейб-гвардии, соболий кивер и шкура барса.

¹ Приятного аппетита! (франц.)

42

7

Слушайте: когда Феликс собрался поехать за Селией, отец еще не переделался даже в свой костюм художника. На нем был свитер и домашние брюки, и он снова повторил Феликсу, что хочет только взглянуть на его барышню и что он вовсе не собирается наряжаться для нее. Встретятся они ненадолго, запросто. Встреча будет будничная, даже скучная.

Да, еще про автомобиль. Это был туристский "кидслер", выпущенный тут, в самом Мидлэнд-Сити, в 1932 году, когда "кидслеры" ни в чем не уступали, а иногда и превосходили немецкие "мерседесы" или английские "роллс-ройсы". Но в 1943 году он уже устарел и стал смешным музейным экспонатом. Феликс откинул верх. Перед задним сиденьем было еще одно, дополнительное стекло. Мотор был шестнадцатилиндровый, а два запасных колеса были закреплены в углублениях возле крыльев. Колеса походили на изогнутые шеи мчащихся вперед лошадей.

И Феликс протарах.сл до негритянского квартала в этом потрясающем драндулете. Одет он был во взятый напрокат смокинг с гарденийей в петлице. На сиденье рядом с ним лежал букетик из двух орхидей — для Селии.

Отец уже стоял в одном белье, и мама принесла ему военную форму. Она знала, что он задумал разыграть Феликса. Все, что затевал отец,

она считала замечательным. И пока отец облачался, она обошла весь дом, выключая электрические лампочки и зажигая свечи. Они с отцом заранее, так, чтоб никто не заметил, расставили повсюду свечи. Наверное, их было не меньше сотни.

И пока отец переодевался в свой алый с серебром мундир, она успела зажечь все свечи.

Я сам, стоя на галерее у своей комнаты, пришел в совершенный восторг, и мама с отцом, как видно, надеялись, что и Селия Гилдрет придет в такой же восторг. Мне казалось, что я попал в гигантский улей, где полно светлячков. А внизу стоял Король Ранних Сумерек.

Я был воспитан на старинных сказках, доставшихся мне в наследство, на мифах и легендах, рассказанных нам отцом, и все мои мысли были окрашены ими. Для меня, да и для Феликса они стали самой жизнью, и никто из ребят Мидлэнд-Сити не знал о том мире, где огоньки свечей кажутся живыми светлячками, и никто из наших сверстников не сочинял сказок про Короля Ранних Сумерек.

Но тут Король Ранних Сумерек в кивере с алым султаном отдал приказ:

— Распахните, распахните врата!

43

■ "А какие это врата?"— подумал я. Кажется, у нас всего две двери. Парадная дверь выходила на юг, а кухонная — на северо-восток. Но отец, как видно, имел в виду что-то куда более величественное.

И он проследовал к огромным воротам для карет, в створки которых была врезана наша парадная дверь. Я их никогда не воспринимал как ворота. Для меня они были частью стены моего дома, только не из камня. Но тут отец взялся за огромный засов, который не открывали тридцать лет. Засов не сразу поддался усилиям отца, но потом плавно скользнул вбок, как ему и полагалось.

До этой минуты засов казался мне просто куском древнего металла на стене. Быть может, сильные руки могли бы вырвать его и убить врага. И резные навески казались мне такими же кусками металла. Но это были не старинные финтифлюшки, вывезенные из Европы. Это были настоящие мид-лэндские навески, готовые служить в любую минуту.

Я прокрался вниз, благоговейно приближаясь к чуду.

Король Ранних Сумерек толкнул плечом сначала одну створку ворот, потом — другую. Стена моего дома исчезла. В пролете мерцали звезды и светила восходящая луна.

Я

Мама, папа и я — все мы спрятались, когда Феликс приехал с Селией Гилдрет в громоздком "кидслере". Феликс тоже был потрясен — наш дом стал таким прекрасным! И когда он выключил работающий вхолостую мотор "кидслера", казалось, что тот все еще тихонько что-то бормочет. Это Феликс рокочущим, как мотор, голосом уговаривал Селию не пугаться, хотя она сейчас увидит в доме всякие неожиданные вещи.

— Извини, пожалуйста, но мне жутко. Я хочу отсюда уйти.

Надо бы Феликсу ее послушаться. Он должен был сразу увезти ее. Она даже призналась через несколько минут, что ей вовсе не хотелось идти на бал, но родители велели ей не упрямиться, а она до того ненавидела свое платье, что боялась показаться в нем перед людьми, а богачей она всегда стеснялась и не хотела с ними знаться, и больше всего она любила сидеть в одиночестве, чтобы никто не пялил на нее глаза, не говорил бы ей всякие слова, чтобы не надо было в ответ сюсюкать, как воспитанной барышне, и так далее.

Фяшкс потом объяснил, почему он не увез ее сразу: хотел доказать отцу, что он держит свое слово, хотя отец своего слова не сдержал. Теперь-то он признается, что вообще начи-

44

сто забыл про Селию. Вылез из машины и даже не подошел с другой стороны, не открыл для нее дверцу и не подал руку, чтобы помочь выйти.

Он в одиночестве пошел к новому великолепному входу, остановился, подбоченился и стал созерцать ослепительную россыпь маленьких огоньков — звездную россыпь.

Он мог бы рассердиться, но рассердится он потом. Он придет в бешенство. Но в первую минуту он только понял, что его отец после многих лет восторженной болтовни и нелепых претензий создал истинно художественное произведение.

Такой красоты в Мидлэнд-Сити еще никогда не выдвали.

■ И тут отец вышел из-за балки-опоры — эта самая балка много лет назад разможила ему ногу — и стал перед Феликсом. В руке он держал яблоко. Селия смотрела на него сквозь ветровое стекло машины. И он громко воскликнул — так, что эхо раскатилось по нашему дому.

— Пусть же Елена, царица Трои, выступит вперед и потребует яблоко, если дерзнет!

Селия не двинулась с места. Она окаменела.

А Феликс, который так и не успел рта раскрыть, по глупости ждал, что она все же выйдет из машины и возьмет яблоко, хотя дураку было ясно, что она вообще ничего не понимала.

Что она знала о Елене Троянской, о яблоке раздора? Кстати, отец сам ничего толком не знал. Он, как я теперь понимаю, все перепутал. Елене Троянской никто никакого яблока не давал, во всяком случае в награду.

Золотое яблоко, по греческому мифу, получила богиня Афродита — в знак того, что она прекраснейшая из богинь. Юный смертный по имени Парис отдал ей предпочтение перед соперницами — Афиной и Герой.

И хотя в весенний вечер 1943 года ничего бы от этого не изменилось, отец должен был сказать: "Пусть Афродита выступит вперед и потребует яблоко, если дерзнет!"

А еще лучше, если бы в тот вечер, когда класс Феликса устраивал бал, папочка велел бы, чтобы его связали, сунули в рот кляп и заперли на чердаке, где хранилось оружие.

Что же касается Елены Троянской, то о ней Селия Гилд-рет слухом не слыхала. В мифе говорится, что Елена была прекраснейшей из смертных и Афродита отдала ее Парису в обмен на яблоко.

Одно было плохо: Елена была уже замужем за царем Спарты, так что троянцу Парису пришлось ее похитить.

Из-за этого и разгорелась Троянская война.

45

■ И Селия действительно вышла из машины, но никакого яблока она так и не взяла. Когда Феликс подошел к ней, она сорвала с платья и бросила свой букетик, сбросила свои золотые бальные туфельки на высоких каблуках, купленные на последние деньги, так же как ее белое платье, а может быть, и кружевное белье. И ее страх, и возмущение, и ножки в чулках, и ее поразительное лицо были чудом из чудес, какое только в сказках и встретишь.

В Мидлэнд-Сити оказалась своя собственная богиня раздора.

Эта богиня танцевать не умела и не хотела, и своих одноклассников она терпеть не могла. Она сказала нам, что в кровь разодрала бы себе лицо, чтобы люди, глядя на нее, не видели то, чего в ней не было и нет. Она сказала, что лучше бы ей умереть, потому что ей стыдно от того, что про нее думают взрослые мужчины и даже мальчишки и как они ее обхаживают. Она сказала, что когда после смерти попадет на небо, то первым делом постарается у кого-нибудь там дознаться, что же, в конце концов, было написано у нее на лице и зачем.

■ Мы с Феликсом вспоминаем все, что говорила Селия в тот вечер, — мы с ним сидим рядом около нашего плавательного бассейна в Гаити.

Мы оба помним, как она сказала, что чернокожие добрее и лучше понимают жизнь, чем белые. Она ненавидела богачей. Она сказала, что надо бы расстрелять всех богачей, которые, как мы, живут в свое удовольствие, когда идет война.

И вдруг, позабыв о своих туфельках и своем букетике, она со всех ног помчалась домой.

■ Бежать ей надо было всего четырнадцать кварталов. Феликс полз за ней на своем "кидслере" вдоль обочины все четырнадцать кварталов, упрашивая ее сесть в машину. Но она нарочно шмыгнула в переулок, куда "кидслер" не мог протиснуться. Феликс так и не узнал, что с ней было потом. Встретились они только двадцать семь лет спустя, в 1970 году. Она тогда была замужем за Двейном Гувером, торговцем автомашинами фирмы "Понтиак", а Феликса только что выгнали с поста президента Национальной радиовещательной корпорации.

И он вернулся домой искать свои корни.

46

Дважды убийцей я стал так.

Весной 1944 года Феликса призвали на действительную военную службу в армию США. Он только что закончил второй семестр на факультете гуманитарных наук университета штата Огайо. Благодаря своему прекрасному голосу он стал одним из главных дикторов на студенческой радиостанции и к тому же был избран вице-председателем студенческого совета первого курса.

Он принес присягу в Колумбусе, но ему разрешили еще одну ночь провести дома, потому что следующий день, второе воскресенье мая, был Днем матери.

Слез никто не проливал, да и с чего было плакать — он должен был служить в армии только диктором на радиостанции. Но мы этого всего

не могли знать и не плакали просто потому, что отец нам сказал: все наши предки гордились и радовались, что служили родине в военное время.

Помню, что у Марко Маритимо, который вместе с братом Джино уже стал крупнейшим строительным подрядчиком в нашем городе, был сын Джулио, которого тогда тоже призывали. И вечером, накануне Дня матери, Марко с женой привели своего сына к нам, и все семейство заливалось горячими слезами, никого не стесняясь, как дети.

И не зря они рыдали. Их сына Джулио убили в Германии.

■ На рассвете, когда мама еще спала, мы с отцом и Феликсом пошли на стрельбище Мидлэндского клуба рыболовов и охотников, как и сотни раз прежде. Это был такой утренний воскресный ритуал. И хотя мне было всего двенадцать лет, я уже умел стрелять из револьверов, из ружей, из винтовок любого образца. И многие другие отцы тоже пришли с сыновьями, и все палили без устали.

Помню, там был начальник полиции Фрэнсис Кс. Морисси со своим сыном Бакки. Морисси был приятелем отца и шел охотиться на гусей вместе с ним и Джоном Форчуном в 1916 году, в тот день, когда пропал старый Август Гюнтер. Только недавно я узнал, что именно Морисси убил старика Гюнтера. Он нечаянно выпалил крупной дробью в футе от головы Гюнтера.

Голову как ветром сдуло.

И отец вместе с остальными, не желая, чтобы этот несчастный случай исковеркал всю жизнь Морисси — такое ведь с любым может стрястись, — пустил тело Гюнтера вниз по течению Сахарной речки.

47

■ В то утро мы с отцом и Феликсом никакого особенного оружия с собой не взяли. Так как Феликсу вскоре предстояло отправляться на фронт, мы взяли только винтовку "спринг-филд". Такие винтовки в американской пехоте уже сняли с вооружения и заменили винтовкой "гаранд". Но винтовками "спрингфилд" еще пользовались снайперы — у них был особенно точный бой. В это утро все стреляли отлично, но я стрелял лучше всех, и меня за это наперебой хвалили. Но лишь после того, как я в тот же день нечаянно застрелил беременную женщину, меня наградили прозвищем Малый Не Промах.

■ Но все-таки в это утро один приз я выиграл. После стрельбы отец сказал Феликсу:

— Дай-ка своему братцу Руди ключ.

Феликс удивился:

— Какой еще ключ?

И тут отец назвал то помещение, которое для меня с самого детства было все равно что святая святых. Сам Феликс получил ключ от него только в пятнадцать лет, а я до этого ключа даже никогда и не дотрагивался.

— Дай ему, — сказал отец, — ключ от оружейной комнаты.

■ Разумеется, я был слишком мал, чтобы мне можно было доверить этот ключ. Даже Феликсу рано было давать этот ключ в пятнадцать лет, а мне-то было всего двенадцать. Но когда я застрелил беременную женщину, выяснилось, что отец даже не помнит, сколько мне лет. Когда пришла полиция, я слышал, как отец сказал, что мне уже шестнадцать или около того.

Дело в том, что я для своих лет был очень высокого роста. Тогда и теперь рост среднего американца — меньше шести футов, а во мне было полных шесть. Вероятно, мой гипофиз на некоторое время взбунтовался, а потом пришел в норму. Я не вырос уродом — если не считать того, что меня наградили клеймом дважды убийцы, — потому что с возрастом сверстники догнали меня в росте.

Но в те годы я был ненормально высок для своего возраста и невероятно худ. Наверное, я пытался стать каким-то суперменом, но раздумал — уж очень неодобрительно к этому отнеслись все окружающие.

48

■ После того как мы вернулись домой из Клуба рыболовов и охотников — я все время чувствовал ключ от оружейной, словно он вот-вот прожжет дыру в кармане, — дома мне еще раз напомнили, что пора стать настоящим мужчиной, потому что Феликс уезжает. Мне пришлось отрубить голову двум цыплятам, которых собирались зажарить на ужин. Это была еще одна привилегия Феликса, и он частенько заставлял меня смотреть, как это делается.

Местом казни был пенек от старого каштана, под которым давным-давно завтракал отец со старым Августом Гюнтером в тот день, когда

братья Маритимо прибыли в Мидлэнд-Сити. Там еще стоял мраморный бюст на пьедестале — ему тоже приходилось на это смотреть. Бюст был вывезен в числе других трофеев из поместья фон Фюрстенбергов в Австрии. Это был бюст Вольтера.

Перед казнью цыплят Феликс изображал Верховное Божество. Он возвещал своим густым басом: "Если желаете сказать последнее слово—говорите!" или "Взгляните на сей мир в последний раз!" — и так далее. Сами мы кур не держали. Каждое воскресенье утром сосед-фермер приносил пару цыплят, и их смотровые глазки мигом захлопывались под острой секирой в деснице Феликса.

Теперь, когда Феликс торопился на поезд до Колумбуса, а там ему надо было еще пересест на автобус до Форт-Бен-нинга в Джорджии, я должен был сделать это вместо него. И я схватил куренка за ноги, и шлепнул его на плаху, и пропищал тоненьким, как грошовый свисток, голоском: "Взгляни на сей мир в последний раз!"

И покати́лась цыплячья голова. V ■

Феликс поцеловал маму, пожал руку отцу и сел в поезд на нашей станции. А мы с мамой и отцом заторопились домой, потому что ждали к ленчу весьма именитую гостью. Это была сама Элеонора Рузвельт, супруга президента США. Она объезжала военные заводы в захолустье, чтобы поднять дух рабочего люда.

Когда в Мидлэнд-Сити приезжал именитый гость, его или ее непременно приводили в студию моего отца — достопримечательностей в нашем городе было маловато. Обычно к нам ^в Мидлэнд-Сити приезжали лекторы, музыканты, певцы, которых приглашала Христианская ассоциация молодых людей. ^а видел Николаса Мэррея Батлера, ректора Колумбийского Университета, — я был тогда совсем мальчишкой, — и Алек-^{са}ндра Вулкотта, знаменитого радиокомментатора, писате-

49

ля и остряка, и рассказчицу Корнелию Отис Скиннер, и виолончелиста Григория Пятигорского, и так далее.

Мы знали, что миссис Рузвельт начнет свою речь, как и все прочие: "Не верится, что я и в самом деле приехала в Мидлэнд-Сити, в Огайо".

Чтобы в студии пахло красками, как в настоящей студии художника, отец нарочно капал на заслонки воздушного отопления скипидар и льняное масло. Когда гость входил в студию, там уже звучала классическая музыка — отец всегда выбирал пластинки с записями классики (но только не немецкой, по крайней мере с тех пор, как он решил, что быть нацистом все-таки не совсем прилично).

У отца еще сохранились импортные вина — их подавали даже во время войны, а к ним сыр "Лидеркранц", и отец обязательно рассказывал, как его изобрели.

Кормили у нас превосходно, даже когда наступили военные времена и мясо выдавалось строго по карточкам: Мэри Гублер отлично умела приготовить не только всякую рыбу, которую ловили в Сахарной речке, но и мясные отходы, которые продавали без карточек, потому что все считали их несъедобными.

■

Рагу из требухи по рецепту Мэри Гублер. Взять свиные кишки, нарезать небольшими кусочками, хорошо промыть, часто сменяя воду, пока не сойдет весь жир.

Варить около трех-четырех часов с луком, травами, чесноком. Подавать с зеленью и овсяной кашей.

■

Мы угощали Элеонору Рузвельт именно этим блюдом, когда она приехала к нам в День матери в 1944 году — рагу из требухи по рецепту Мэри Гублер. Ей это блюдо очень понравилось, и, так как она была настоящей демократкой, она пошла на кухню и долго разговаривала с Мэри Гублер и другой прислугой. Конечно, при ней, как водится, вертелись агенты секретной службы, и один из них спросил моего отца:

— А у вас, говорят, большая коллекция огнестрельного оружия ?

Видно, агенты секретной службы о нас все разноухали. И им, конечно, было известно, что некогда мой отец очень почитал Гитлера, но потом его отношение к фюреру, надо думать, коренным образом изменилось.

Тот же агент секретной службы спросил, что это за музыку играет наш патефон.

50

- Это Шопен, — сказал отец. И когда этот агент открыл рот, чтобы задать еще один вопрос, отец догадался, что именно он хочет узнать, и перебил его: — Шопен — поляк, - сказал отец. — Поляк — слышите? — поляк!

Кстати, только сейчас, когда мы с Феликсом тут, в Гаити, сравнивали наши воспоминания, мы поняли, что всех наших знатных гостей заранее предупреждали, что наш отец никакой не художник. Потому, что никто из них никогда не просил отца показать какие-нибудь свои работы.

■

А если бы кого-то забыли предупредить или у гостя хватило бы нахальства попросить отца показать ему свои произведения, тот, наверное,

показал бы небольшое полотно, стоявшее на грубо сколоченном мольберте. На этот мольберт можно было поставить холст размерами приблизительно 2,5 на 3,5 метра. И, как я уже говорил, этот мольберт по ошибке легко было принять за гильотину, особенно в комнате, увешанной всяким старинным оружием.

Маленькое полотно, повернутое обратной стороной к посетителям, смахивало на упавший нож гильотины. Это был единственный холст, и других холстов на мольберте я никогда не видал за все наше существование на этой планете вместе с отцом; но, вероятно, некоторые гости все же не постеснялись заглянуть на ту сторону. Кажется мне, что миссис Рузвельт заглянула. И я уверен, что агенты секретной службы — тоже. Им-то надо было всюду сунуть свой нос.

А увидели они на холсте только причудливо и дерзко разбросанные мазки, достойные подающего надежды художника; тогда отец жил в довоенной Вене и ему было всего двадцать лет. Это был набросок — нагая натурщица в студии, которую отец снял, съехав от своих венских родственников. В студии был верхний свет. На столе, покрытом клетчатой скатертью, стояло вино, сыр и хлеб.

Ревновала ли его мама к этой голой натурщице? Конечно, нет. Этого и быть никак не могло. Когда отец начинал эту картину, маме было всего одиннадцать лет.

■ Этот набросок был единственной работой моего отца, какую мне довелось видеть. В 1960 году, когда отец скончался и мы с мамой переехали в наш крохотный трехкомнатный "нужничок" в Эвондейле, мы повесили картину отца над камином. Этот самый камин и стал причиной маминой смерти, потому что каминная доска была сделана из радиоактивного

51

цемента, оставшегося от программы "Манхэттен" — программы создания атомной бомбы во время второй мировой войны.

Я думаю, этот набросок еще валяется где-нибудь в нашей конурке, потому что Мидлэнд-Сити теперь находится под охраной Национальной гвардии. А для меня этот этюд имеет особое значение. Он служит доказательством того, что мой отец хоть на минуту в ранней-ранней юности почувствовал, что себя самого и собственную жизнь он может воспринимать всерьез.

Я словно слышу, как он, глядя на свой многообещающий набросок, с удивлением говорит сам себе:

— Боже ты мой, а ведь я все-таки художник! Но он ошибался.

■ И вот за тем ленчем, когда мы поели потрохов и запили их черным кофе с крекерами и сыром "Лидеркранц", миссис Рузвельт рассказала нам, с какой гордостью, как самоотверженно и напряженно работают все — даже женщины — у конвейера по сборке танков на заводе "Грин даймонд". Там они трудились денно и нощно. Даже во время ленча в День матери стены отцовской студии тряслись от грохота проходящих танков. Танки шли на полигон, расположенный на месте бывшей молочной фермы Джона Форчуна, где потом братья Маритимо построили целый поселок "нужничков", получивший название Эвондейл.

Миссис Рузвельт знала, что Феликс только что ушел в армию, и она сказала, что просит бога хранить его. Она сказала, что ее мужу горше всего сознавать, что победа достигается ценой стольких жертв, стольких молодых жизней.

Как и отец, она тоже подумала, что мне уже шестнадцать лет — ее сбил с толку мой высокий рост. Во всяком случае, она решила, что меня тоже вот-вот должны забрать в армию. Но она надеялась, что до этого дело не дойдет. А я надеялся, что до того мой голос успеет огрубеть. Она сказала, что после победы мир обновится, жизнь станет чудесной. Всем, кто нуждается в пропитании, в лечении, окажут помощь, и люди будут свободно высказывать вслух все, что они думают, будут по своей воле выбирать себе религию, какая им придется по душе. Ни одно правительство не посмеет творить беззаконие, потому что против него тогда сплотятся все государства в мире. Вот почему никогда не будет никакого нового Гитлера. Его раздавят, как клопа, не успеет он оглянуться.

Тут отец спросил у меня, почистил ли я винтовку "спринг-

52

филд". Это была теперь моя обязанность — выдав ключ от оружейной комнаты, на меня возложили обязанность чистить все оружие.

Теперь Феликс уверяет, что отец считал это такой честью и сделал из ключа какой-то фетиш только потому, что ему самому было просто лень хоть разок почистить ружье.

■ Помню, что миссис Рузвельт вежливо осведомилась, умею ли я обращаться с огнестрельным оружием. Мама тоже в первый раз услышала, что отец дал мне ключ от оружейной комнаты.

Отец объяснил им, что мы с Феликсом умеем пользоваться огнестрельным оружием малого калибра лучше, чем большинство военнослужащих, и повторил то, что твердят обычно все члены Национальной стрелковой ассоциации: как прекрасна и естественна эта влюбленность каждого истинного американца в огнестрельное оружие. Отец добавил, что стал нас обучать стрельбе с такого раннего возраста, чтобы осторожность стала нашей второй натурой.

— Никогда у моих мальчиков не будет несчастных случаев при пользовании огнестрельным оружием, — сказал он, — потому что уважение к оружию вошло в их плоть и кровь. Я ничего не возразил, но сильно сомневался в том, что наш Феликс и его приятель Бакки Морисси — сын начальника полиции — достаточно осторожны с огнестрельным оружием. Уже по крайней мере года два Феликс и Бакки без ведома отца брали любое оружие из его коллекции, стреляли ворон, садившихся на кладбищенские памятники, прерывали телефонную связь, расстреливая изоляторы на столбах вдоль Шеперд-стаунского шоссе, и одному богу известно, сколько почтовых ящиков они пробили по всему штату; а однажды они даже устроили стрельбу по стаду овец возле пещеры Святого

чуда.

Мало того, после большого футбольного матча в День благодарения между командами Шепердстауна и Мидлэнд-Си-ти шепердстаунские головорезы поймали Феликса и Бакки, когда те возвращались домой со стадиона, и хотели их избить, но Феликс распугал всю шайку, выхватив-из-за пояса спрятанный под курткой заряженный автоматический кольт.

Шутить он не любил.

■

Но, хвастаясь нашей осторожностью, отец ничего не знал об этих проделках. И когда миссис Рузвельт отбыла, он пос-

53

лал меня в оружейную и велел безотлагательно вычистить винтовку "спрингфилд".

Для всех этот день был праздником матери, а я в этот день прошел обряд посвящения в мужчину, хотя вряд ли дорос до этого. Но я собственноручно убил цыплят. Я стал хозяином склада, где хранилось столько оружия и боеприпасов. Как же мне было не гордиться! Надо было хорошенько почувствовать и осмыслить, чего я достиг. У меня в руках была винтовка "спрингфилд". Ей было любо лежать у меня в руках. Она и была создана по руке настоящего мужчины.

Мне так понравилась эта винтовка — а она полюбила меня за то, что я утром так здорово стрелял из нее, — что я, не «ы-пуская ее из рук, поднялся по стремянке на самый верх, в купол. Мне хотелось сидеть там в одиночестве, смотреть с высоты на крыши города, думать о том, что мой брат, может быть, пошел на смерть, слушать и ощущать всем телом, как внизу на улице грохочут танки. Ах, сладостная тайна жизни!

У меня в нагрудном кармане осталась обойма с патронами. Она лежала там с утра. Приятно было чувствовать ее. *F.* вложил обойму в магазин винтовки, потому что знал — ей это очень нравится. Она с жадностью глотала эти обоймы.

Я двинул затвор вперед, дослал патрон, и он ушел в патронник. Я закрыл затвор. Теперь винтовка была заряжена боевым патроном, и курок был взведен.

Для такого опытного стрелка, как я, ничего опасного тут не было. Я мог спустить курок не до конца, не дать ему ударить по капсюлю. А потом я бы еще раз щелкнул затвором, и боевой патрон отлетел бы в сторону, как стреляная гильза. А я вместо этого нажал на спуск.

10

Элеонора Рузвельт, вся в мечтах о светлом будущем, уже подъезжала к другому городку, чтобы укрепить дух рабочего люда. Конечно, выстрела она и не слышала.

Мама и отец слышали, как я выстрелил. И соседи тоже слышали. Но никто не понял — то ли это выстрел, то ли нет: все заглушали грохот и выхлопы танков. Эти новые машины, впервые нажавшие бензина, давали очень громкие выхлопы.

Но отец поднялся наверх — посмотреть, все ли у меня хорошо. Мало сказать хорошо! Я был на седьмом небе. Я услышал шаги отца, но мне было не до него. Я все еще стоял у оконца в куполе, сжимая в руках винтовку "спрингфилд".

Отец спросил меня, слышал ли я выстрел. Я сказал:

- Да .

54

Он спросил: кто стрелял? Я сказал:

— Не знаю.

Не спеша, спокойно я сошел вниз по лестнице. Теперь у меня есть своя тайна. Буду, как сокровище, хранить в памяти выстрел из винтовки "спрингфилд" над крышами нашего города.

Я никуда не целился. Не помню, задумался ли я о том, куда же попала пуля. Во всяком случае, я считал себя безупречным стрелком. Раз я ни во что не целился, значит, я ни во что и не попал.

Пуля для меня была чисто символической. А разве символ может кого-нибудь ранить? Для меня она была просто символом того, что я уже расстался с детством, стал настоящим мужчиной.

Почему же я не стрелял холостым патроном? Может быть, тогда выстрел стал бы символом чего-то совсем другого?

■ Я выбросил гильзу в корзинку, куда бросали все стреляные гильзы; их потом отдавали в утиль. Гильза стала членом великого военного братства "Безымянных стреляных гильз".

Я разобрал винтовку, вычистил ее как следует, снова собрал — это я умел делать даже вслепую — и поставил на место.

Винтовка была моим лучшим другом.

Я вернулся к сидевшим внизу взрослым. Оружейную комнату я тщательно запер. Не всякому можно доверять все эти ружья. Не каждый умеет с ними обращаться. Есть же такие дураки, которые ни черта не смыслят в огнестрельном оружии.

■ После визита миссис Рузвельт я помог Мэри Гублер убрать со стола. Никто не замечал, что я помогаю нашей прислуге. Слуги у нас всегда были, но их считали невидимками. Мама и отец никогда не интересовались, кто их обслуживает, кто приносит и уносит все, что надо.

Конечно, я вовсе не был похож на девчонку. Никогда, никогда меня не тянуло вырядиться, как девчонка; к тому же я был хорошим стрелком, играл в футбол, в бейсбол и так далее. Разве странно, что я любил готовить? Лучшими поварами в мире всегда были мужчины.

В тот раз на кухне, после визита миссис Рузвельт, пока наша повариха Мэри Гублер мыла посуду, а я вытирал, Мэри сказала, что сегодня самый знаменательный день в ее жизни.

55

Она видела миссис Рузвельт и будет об этом рассказывать детям и внукам, и такого дня ей уже не видать. Таких великих событий в ее жизни никогда больше не будет.

У парадного входа раздался звонок. Конечно, большие ворота каретника были заперты на засов и на замок уже год — после того дурацкого случая с бедняжкой Селией Гилдрет. Теперь к нам опять входили через обыкновенную дверь.

Я услышал звонок и открыл. Ни мама, ни отец никогда сами дверей не открывали. За дверью стоял начальник полиции Морисси. У него был очень встревоженный и очень таинственный вид. Он сказал, что не хочет заходить, чтоб не тревожить мою маму, и попросил меня незаметно вызвать отца к нему, поговорить. Сказал, чтобы я тоже присутствовал при этом разговоре.

Даю честное слово: я и не подозревал, что стряслось какое-то несчастье.

Я вызвал отца. Значит, у нас с ним и с начальником полиции Морисси есть свои мужские дела, такие дела, о которых женщинам лучше не знать. Все равно они наверняка ничего не поймут. Я как раз вытирал руки чайным полотенцем.

А сам Морисси, как я узнал после — тогда я еще ничего не подозревал, — был повинен в убийстве: это он случайно, в молодости, застрелил из ружья Августа Гюнтера.

Теперь он тихо сообщил отцу и мне, что Элоиза Метцгер, беременная жена заведующего отделом городских новостей газеты "Горнист-обозреватель" Джорджа Метцгера, только что убита выстрелом из винтовки — она пылесосила ковер в спальне для гостей на втором этаже их дома на Гаррисон-авеню, в восьми кварталах от нас. Стекло пробито пулей.

Внизу домашние забеспокоились, услышав, что пылесос гудит и гудит на одном месте.

Начальник полиции Морисси сказал, что смерть миссис Метцгер была мгновенной, так как пуля попала ей прямо в лоб. Боли она не

почувствовала. Она даже не узнала, что ее сразило.

Пулю подняли с пола спальни; это была пуля в медной оболочке, и она осталась целехонька, хотя и пробила стекло и голову миссис Метцгер.

— Послушайте, я спрашиваю вас обоих как старый друг вашей семьи, — сказал Морисси, — пока не началось официальное расследование и я для вас просто человек, да еще семейный: скажите, никто из вас не знает, откуда примерно час тому назад могла взяться винтовочная пуля калибра семь и шестьдесят две сотых в медной оболочке?

Я умер.

Но остался в живых.

56

■
Отец точно знал, откуда взялась пуля. Он слышал выстрел. Он видел меня на верху лестницы, в куполе, с винтовкой "спрингфипд" в руках.

Он со свистом втянул воздух сквозь крепко сжатые зубы. Такой звук издавали мученики, когда их пытали. Он сказал:

— Господи!..

— Да, — сказал Морисси. Видно было, что он понимал: все равно проку не будет, даже если нас строго накажут за этот несчастный случай — такое ведь с любым может стрястись.

Конечно, он со своей стороны сделает все, что в его силах, чтобы все в городе поняли, что это просто несчастный случай. Может быть, даже удастся убедить людей, что пуля прилетела неизвестно откуда.

Все знают, что не у нас одних в городе есть винтовка калибра 7,62 мм.

Я немного ожил. Взрослый, облеченный властью человек, сам начальник полиции, верит, что я ничего плохого не сделал. Просто мне не повезло. Такое несчастье со мной больше никогда не повторится. Это уж точно.

Я перевел дух. Я ему поверил.

11

Значит, все будет в полном порядке.

Я твердо уверен, что и жизнь отца, и жизнь моей матери, и моя жизнь была бы в полном порядке, если бы отец не сделал того, что он сделал в следующую минуту.

Он полагал, что при своем положении в обществе он обязан вести себя благородно, ничего другого ему не остается.

- Стрелял мой сын, — сказал он, — но виноват один я.

- Постой, Отто, погоди минутку, - предостерег его Морисси.

Но отец уже сорвался с места и кинулся в дом, крича матери, и Мэри Гублер, и всем, кто мог его услышать: — Я виноват! Я во всем виноват!

Подожли еще несколько полицейских. Они вовсе не собирались арестовывать или хотя бы допрашивать ни меня, ни отца, они просто хотели доложить Морисси. Они совершенно не собирались делать нам ничего плохого без приказаний Морисси.

И они, конечно, слышали, как отец клялся: "Я во всем виноват!"

57

■ Кстати, зачем было беременной женщине, матери двоих детей, возиться с пылесосом в праздничный день, в День матери? Сама виновата: она прямо-таки напрашивалась, чтобы ей вlepили пулю в лоб, верно?

■ Феликс, конечно, пропустил самое интересное — он ехал в военном автобусе, направлявшемся в Джорджию. Его даже назначили старшим в этом автобусе — уж очень мощный командирский бас был у него, — но все это пустяки по сравнению с тем, что творилось со мной и с отцом.

И Феликс никогда почти ничего не говорил о том, что случилось в этот роковой день - в День матери. Только недавно, уже здесь, в Гаити, он вдруг сказал мне:

—А знаешь, почему наш старик взвалил на себя всю вину?

—Нет, — сказал я.

— Это было первое настоящее событие в его жизни. И ему захотелось посмаковать этот подарок судьбы. Наконец-то с ним что-то приключилось. И он хотел, чтобы это приключение тянулось как можно дольше.

■ И вправду, отец устроил из всего этого настоящий цирк. Он не только покался безо всякой надобности, он еще схватил молоток, лом, долото и мачете, которым я рубил головы цыплятам, и затопал вверх по лестнице к оружейной комнате. У него был свой ключ, но им он не воспользовался. Он с размаху сшиб и расколол замок.

Его никто не удерживал — все остолбенели от страха.

И никогда, честно скажу, ни разу он ни в чем, ни на одну секунду, ни единым словом не обвинил меня. Всю вину он взял на себя, всю жизнь считал, что только он, он один виноват во всем и до конца жизни ему не искупить эту вину. Выходит, я был просто ни в чем не повинным и перепуганным насмерть зрителем этого спектакля вместе с мамой, и Мэри Гублер, и начальником полиции Морисси, и, кажется, еще восемью полицейскими.

Отец переломал все винтовки, просто лупил по всей стойке молотком. Во всяком случае, ему удалось их согнуть, расщепить. Было разбито несколько старинных ружей. Интересно, сколько стоила бы эта коллекция теперь, если бы она досталась мне и Феликсу в наследство? Думаю, не меньше ста тысяч долларов, а может, и больше.

Отец поднялся в купол, где я побывал совсем недавно. И там он умудрился сделать то, что, как говорил потом Марко Маритимо, вообще не под силу одному человеку, да еще с такими мелкими и неподходящими инструментами. Отец подсек основание купола и спихнул его вниз. Купол сорвался с уцелевших слабых креплений, покатился по шиферной крыше и грохнулся вместе с флюгером прямо на машину начальника полиции Морисси, стоявшую внизу у входа.

И воцарилась мертвая тишина.

Я и все остальные зрители стояли внизу, у лестницы, ведущей в оружейную комнату, и смотрели вверх. Да, отец устроил в Мидлэнд-Сити, штат Огайо, настоящую душераздирающую мелодраму. Но вот она кончена. Главный герой возвышался над нами, побагровевший с натуги; он тяжело дышал, но все же неизмеримо гордился собой, стоя под открытым небом, подставив грудь ветру.

12

По-моему, отец очень удивился, когда после всех этих событий нас с ним доставили в тюрьму. Правда, он никогда ни с кем об этом не говорил, но, я думаю — и Феликс со мной согласен, — он был настолько не от мира сего, что вообразил, будто достаточно переломать ружья и сорвать крышу с дома, и все само собой уладится. Он решил заплатить за свою преступную халатность, не дожидаясь, пока ему предъявят счет за то, что он доверил мальчишке оружие и боеприпасы. Вот это класс!

И я понял это, увидев, как он гордо стоит на верхней ступеньке лестницы, на фоне неба, и я с радостью уверовал, что так оно и будет: расплатился сполна, ей-богу, расплатился сполна!

А нас взяли и увезли в кутузку.

Мама слегла в постель и неделю не вставала.

Марко и Джино Маритимо, у которых были в распоряжении сотни рабочих, еще до вечера лично явились латать крышу. Их никто не звал. Весь город уже знал, в какой переплет мы попали. Но, разумеется, люди больше всего жалели мужа и двоих детей женщины, которую я убил.

К тому же Элоиза Метцгер была на сносях, так что я, в сущности, разом убил двоих.

Помните, что сказано в Библии: "Не убий".

■ Начальник полиции Морисси отказался от всяких попыток спасти отца и меня, раз уж отцу так нравилось каяться

и добиваться кары и возмездия. Он махнул рукой и оставил нас на попечение доброго пожилого лейтенанта и стенографиста. Отец велел мне подробно описать, как я выстрелил из винтовки, и я все рассказал коротко и начистоту. И стенографист все записал.

А потом отцу вздумалось добавить от себя — и его слова тоже застенографировали:

— Он ведь еще совсем мальчишка. По закону и по совести за его действия ответственные мы — я и его мать. За все, кроме пользования огнестрельным оружием. Тут я один отвечаю за то, что позволил ему брать оружие, и только я один отвечаю за ужасный случай, который произошел сегодня днем. Сын всегда был послушным ребенком и вырастет стойким и честным мужчиной. Я ни в чем не могу упрекнуть его. Я сам дал ему винтовку и боевые патроны, хотя он для этого еще слишком мал, и оставил его без присмотра.

Отец тогда уже знал, что мне всего двенадцать лет, а не шестнадцать или "около того".

- Отпустите его, он тут ни при чем. И моя несчастная же на тоже ни при чем. Я, Отто Вальц, будучи в здравом уме и твердой памяти, подтверждаю под присягой и клянусь спасением души, что я, и только я, виноват во всем.

■ По-моему, он опять очень удивился, когда нас не отпустили домой. Разве можно было еще чего-то требовать от человека после такого исчерпывающего признания?

Но его отвели в камеру в подвале полицейского управления, а меня посадили в камеру на верхнем, третьем этаже, куда сажали женщин и малолетних преступников моложе шестнадцати лет. Там сидела только одна арестованная — негритянка из пригорода, которую сняли с автобуса за то, что она избивала белого шофера. Родилась она далеко на Юге. От нее-то я и услышал впервые, что рождение — это когда наш смотровой глазок открывается, а когда он закрывается — это и есть смерть.

Там, где она родилась, все это знают. Она сказала, что теперь жалеет, что отколошматила водителя автобуса — он оскорбил ее только за то, что она черная.

— Просила я кого-нибудь, чтобы мой смотровой глазок открылся? А он вдруг открылся в один прекрасный день, и я услышала: "Вот еще одна черномазая. Черным родиться — с бедой породниться". А когда у этого бедняги шофера, которого из-за меня свезли в больницу, смотровой глазок открылся, он услышал, как над ним говорят: "А этот — белый. Беленький, счастливчик".

Помолчав, она продолжала:

— Открылся мой смотровой глазок. Вижу — женщина, спрашиваю: "Ты кто?" А она говорит: "Я твоя мама". А я спрашиваю: "Как живем, мама?" А она мне: "Худо живем. Денег нету, работы нету, жить негде, папа твой на каторге, а у меня уже семеро детей, кроме тебя, проклянулись их смотровые глазки, и все тут". Я говорю: "Мама, может, ты знаешь, как мой смотровой глазок закрыть, вот и закрой, да поскорей". А она говорит: "Ты меня, дитя, лучше не искушай! Это тебя нечистый подбивает!"

Она спросила меня, как это белый мальчик, такой аккуратненький, нарядный, взял да и угодил в тюрьму. И я рассказал ей, что произошел несчастный случай. Я чистил винтовку, а она случайно выстрелила и убила женщину, так далеко, что я и не видел.

Я уже репетировал свою оправдательную речь, хотя отец считал, что тут и говорить не о чем.

— Ох, господи боже ты мой, — сказала мне негритянка. — Закрыв ты чей-то глазок. Неладно вышло, ох как неладно...

■ Мне тогда показалось, что мой смотровой глазок только сию минуту открылся и я еще не успел привыкнуть к тому, что творится вокруг, а мой отец уже сшиб крышу с нашего дома, и все называют меня убийцей. Слишком уж быстро все происходит на нашей планете.

Я и дух не успел перевести.

Но в полиции все было спокойно. Да и что могло произойти в тихий воскресный вечер?

Часто ли заведомые убийцы сидели в тюремной камере в Мидлэнд-Сити? Тогда я ничего об этом не знал, но я просмотрел впоследствии статистику преступности за 1944 год. Убийц у нас до тех пор не бывало. Случаев со смертельным исходом было всего восемь: три водителя разбились в пьяном виде, а один — в трезвом состоянии. Одного человека пришибли в драке в негритянском ночном клубе. Еще одного — в ночном клубе для белых. Какой-то тип застрелил своего зятя, приняв его за вора. А теперь добавилось еще одно дело: я убил Элоизу Метцгер.

Я не подлежал суду как несовершеннолетний. Судить могли только моего отца. Морисси объяснил мне все заранее — в самом начале, когда он еще думал, что мы с отцом можем надеяться на благоприятный исход дела. Так что я не боялся, хотт мне было не по себе.

Но вот чего я не знал: Морисси тем временем решил, что мы с отцом и в самом деле опасные идиоты, потому что мы

того купола; это постыдное приглашение было сделано таким тоном, как будто речь шла о самом обычном развлечении.

Я как-то уже упоминал об Александре Вулкотте, знаменитом радиокомментаторе, писателе и остроумнейшем человеке, который был когда-то у нас в гостях. Он придумал чудесное прозвище для пишущей братии: "Подонки, запятнанные чернилами".

Поглядел бы он на меня в моей клетке!

■ Два часа подряд я высидел на той скамейке. Я молчал, слушая разные выкрики. Иногда я сидел прямо. Иногда я весь съеживался, опускал голову и руками, заляпанными чернилами, зажимал то уши, то глаза, тоже заляпанные чернилами. Под конец мой мочевой пузырь чуть не лопнул. Я напустил прямо в штаны, только чтобы никого не звать. Ну и что? Я был все равно что цирковой урод. Или дикарь с острова Борнео.

■ Впоследствии, беседуя с древними стариками, я выяснил, что в Мидлэнд-Сити я был единственным выставленным на позор преступником с тех пор, когда приговоренных к смерти вешали публично на лужайке перед зданием суда. Меня наказали с вопиющей, невиданной жестокостью. Это был беспрецедентный случай. Но все сочли, что это вполне нормально, за исключением братьев Маритимо и, как ни странно, Джорджа Метцгера, заведующего отделом городских новостей газеты "Горнист-обозреватель", мужа той самой женщины, которую я убил несколько часов назад.

Но до прихода Джорджа Метцгера зрители вели себя так, будто для них издеваться над преступниками — дело привычное. Может, они частенько мечтали об этом. Они явно считали, что я обязан выслушивать их внимательно и почтительно.

Чего только я не слышал: "Эй, ты! С тобой разговаривают, понял?" или "Черт подери, смотри мне в глаза, сукин ты сын" — и так далее.

Они поминали друзей и родственников, раненных или убитых на войне. Некоторые из них стали жертвами аварий на производстве, здесь, в глубоком тылу. Но их нравственные выкладки были куда как просты. Все эти солдаты, моряки и даже рабочие на военных заводах отдают самое дорогое, что

у них есть, — жизнь, чтобы на земле было побольше доброты, а я взял да и отнял жизнь, частицу этой доброты.

Что же я сам думал о себе? Я думал, что я, как видно, просто выродок, недочеловек и мне теперь не место на нашей планете. Если человек вдруг стреляет из винтовки "спринг-филд" над крышами родного города, значит, у него в голове винтиков не хватает!

И если бы я захотел ответить на все эти выкрики, я, наверное, должен был бы повторять как заведенный: "У меня винтиков в голове не хватает! Винтиков не хватает!"

■ Селия Гилдрет подошла к клетке. Я не видел ее целый год после того жуткого вечера перед балом, но я ее сразу узнал. Она по-прежнему была первой красавицей в городе. Не могу понять, зачем они ее пригласили. Наверное, приглашение получил ее спутник. Она шла под руку с Двейном Гувером — тогда он, по-моему, был каким-то гражданским инспектором при авиационном корпусе сухопутных сил. Почему-то он не служил в армии. Я-то знал, кто он такой, потому что он превосходно разбирался в автомобилях и мой отец иногда приглашал его привести в порядок наш "кидслер". Впоследствии Двейн женился на Селии и стал самым преуспевающим продавцом автомобилей в наших местах. Селия покончила с собой в 1970 году, двенадцать лет назад, наглотавшись "Драно", порошка для чистки канализации — это смесь щелока и цинковой стружки. Такого жуткого самоубийства я даже вообразить не могу. А было это за несколько месяцев до открытия Мемориального центра искусств имени Милдред Бэрри.

Селия знала, что скоро откроется Центр искусств, а наша радиостанция, все политики и прочие говорили, как преобразится жизнь в Мидлэнд-Сити. Но под рукой у Селии была (банка "Драно" с разными угрожающими надписями, а ждать ей уже стало невозможно. Повидал я горя на своем веку.¹³ Теперь, когда я хорошо знаком с Гаити, знаю и здешних колдунов, и знахарей, знаю про всякие заклинания и амулеты, про добрых и злых духов, которые могут вселяться в любое живое существо, в любую вещь, я иногда думаю — имеет ли хоть малейшее значение, что именно я сидел в клетке в подвале старого здания суда в тот давний день. Вместо меня

можно было засадить в клетку какую-нибудь корягу, или кость диковинной формы, или сляпанную из глины куклу с соломенными волосами — лишь бы все верили, что в эту куклу вселилась нечистая сила, что это воплощение зла, каким в Мидлэнд-Сити считали меня.

Все почувствовали себя хоть на время в безопасности. Воплощение зла заперто в клетку, скорчилось там на узкой скамейке.

Можете сами на него полюбоваться.

■

В полночь все посторонние лица были удалены из подвала.

— Все, граждане, — говорили полицейские, — представление окончено, — и так далее. Они имели право называть меня "представлением". Я был представлением, местным театром.

Но из клетки меня не выпустили. А как славно было бы принять теплую ванну, забраться в свою постель, лечь на чистые простыни и спать до самой смерти.

Мучения мои еще не кончились. Меня охраняли шесть полицейских — трое в форме, трое в штатском, но все — с револьверами. Я мог бы даже назвать марку и калибр револьверов. Не было там ни одного такого, который я не сумел бы разобрать, тщательно вычистить и снова собрать. Я точно знал, куда надо капнуть масла. И если бы мне в руки дали эти револьверы, я мог бы гарантировать, что ни один из них не даст осечки.

Очень неприятно, когда револьвер дает осечку.

Шесть дежурных полицейских заведовали представлением под названием "Руди Вальц", и по их виду я понимал, что сейчас объявлен антракт, но спектакль не кончился. На меня пока не обращали внимания, как будто дали занавес.

Внезапно полицейские ожили, словно их включили в сеть. Наверху распахнулась и захлопнулась дверь. Кто-то крикнул: "Он тут!" Полицейские откликнулись как эхо: "Он тут, он тут". Никто не назвал посетителя, но это был кто-то особенный, необыкновенный. И я услышал его шаги по лестнице. ..

Я подумал: а вдруг это палач? Или, может, пришел сам начальник полиции Фрэнсис Кс. Морисси, давнишний друг нашей семьи, который в тюрьме еще ни разу не показывался. А может быть, это мой отец?

Это был Джордж Метцгер, овдовевший в тридцать пять лет, муж той женщины, которую я застрелил. Тогда ему было на пятнадцать лет меньше, чем мне теперь, когда я пишу эту книгу, он был еще совсем молодым, но мне, в моем тогдашнем возрасте, он казался стариком. У него уже была лысина

66

на макушке. Он был худой, очень горбился, и одет он был странно, у нас в Мидлэнде никто так не одевался: на нем были серые фланелевые брюки и твидовый спортивный пиджак — позже, уже в университете Огайо, я видел, что так одевались профессора-англичане. Он целыми днями сидел в редакции "Горниста-обозревателя" и что-то строчил.

Я не знал, кто он такой. У нас дома он никогда не бывал. Да и в нашем городе он прожил всего год. Он был бродячим газетчиком. Его к нам переманили из редакции "Индианапо-лис тайме". Впоследствии, на судебном процессе, выяснилось, что он — сын бедных родителей, родился в Кеноше, штат Висконсин, учился в Гарварде и дважды плавал в Европу на пароходах-скотовозах, отрабатывая проезд. А наш адвокат пытался сыграть на том, что он когда-то был членом коммунистической партии и пытался вступить в бригаду имени Авраама Линкольна во время гражданской войны в Испании.

Метцгер носил очки в толстой роговой оправе, глаза у него покраснели от слез, а может, и от табачного дыма. Спускаясь ко мне в подвал, он тоже курил, а сзади шел сыщик, которого за ним посылали. И он вел себя так, будто он сам преступник, докуривал свою сигарету с таким видом, будто это его последняя сигарета перед расстрелом и сейчас его поставят к стенке.

Я бы ничуть не удивился, если бы полицейские тут же пристрелили этого беднягу у меня на глазах. Я уже ничему не удивлялся. Я до сих пор ничему не удивляюсь. Я застрелил беременную женщину и вызвал этим лавину совершенно немыслимых последствий.

Как я могу вообще спокойно вспоминать мою первую встречу с Джорджем Метцгером? Вот какой фокус я придумал, чтобы спокойно вспоминать самое жуткое в моей жизни. Я твержу себе, что это просто пьеса. И все настоящие люди — просто актеры. Они и ведут себя как положено на сцене. Передо мной не жизнь, а произведение искусства.

Итак:

Подвал. Полночь. Шесть полицейских выстроились у стены. Руди, мальчик, измазанный чернилами, сидит в клетке посреди подвала. По лестнице с сигаретой во рту спускается Джордж Метцгер, чью жену недавно застрелил Руди. За ним с видом церемониймейстера идет сыщик. Полицейские затаили дух в предвкушении событий. То-то будет забава.

Метцгер (*увидев Руди, в ужасе*). Господи боже! Что это такое?

Сыщик. Это малый, что застрелил вашу супругу, мистер Метцгер.

67

Метцгер. Что вы с ним сделали?

Сыщик. Да не волнуйтесь вы за него. Он в порядке. Хотите, он вам споет-спляшет? Мы его заставим спеть и сплясать. Метцгер. С вас

станется.

Пауза.

Ладно. Я посмотрел, какой он. Отпустите меня домой, к детям.

Сыщик и к. А мы-то думали, что вы ему скажете пару слов...

Метцгер. Разве это обязательно?

Сыщик. Нет, сэр. Но мы с ребятами подумали и решили: надо вам предоставить эту драгоценную возможность.

Метцгер. Я думал, это официальное приглашение! Вы приказали, чтобы я следовал за вами. *(Вдруг сообразив, что происходит.)* Но это же неофициально! Это... Это не по правилам!

Сыщик. Да нас тут и нет, никого нет. Я дома, сплю. И вы спите. И ребята спят у себя дома. Верно, ребята?

Полицейские притворно храпят.

Метцгер *(с гадливым любопытством)*. Но чего вы от меня ждете, джентльмены? Чего бы вам хотелось?

Сыщик. Вот если бы вы сейчас вырвали у кого-нибудь из нас револьвер да пульнули в этого богача, в сволочь нацистскую, в этого засранца, мы бы вам и слова не сказали. Правда, нам было бы не так просто выпутаться. Тут такое бы началось — хлопот не оберешься.

Метцгер. Значит, по-вашему, мне лучше ограничиться словесными оскорблениями?

Сыщик. Кое-кто вместо слов пускает в ход каблуки да кулаки.

Метцгер. Значит, я должен его избить? Сыщик и к. Боже упаси! Как вам могла прийти в голову такая чушь!

Полицейские, кривляясь, изображают возмущение и ужас—как можно такое подумать!

Метцгер. Я только спросил.

Сыщик и к. А ну-ка, ребята, давайте его сюда!

Полицейские бросаются отпирать клетку, выволакивают Руди. Он в ужасе рвется у них из рук.

68

Руди. Я не виноват! Простите! Я нечаянно! Я не знал! *(И так далее.)*

Двое полицейских держат Руди перед Метцгером — пусть он ему задаст как следует, измордует в свое удовольствие.

Сыщик *(к Метцгеру и Руди)*. Мало ли что бывает. Люди частенько с лестницы падают. Мы их сами и в больницу отвозим. Сплошь да рядом такое случается — с пьяницами, с неграми, которые забывают, где их место. Но вот такой пижон, малолетний убийца, нам еще никогда не попадался.

Метцгер *(ему хочется поскорее уйти, он чувствует, что жизнь его доконала)*. Что же это за день такой!..

Сыщик и к. Не желаете отхлестать его как следует по мягкому месту? А ну, ребята, спускай с него штанишки, пусть дядя его отшлепает.

Полицейские спускают с Руди штаны, заставляют его повернуться спиной и нагнуться.

Эй, кто-нибудь, дайте человеку чем сподручнее отхлестать этого малого по заднице!

Остальные полицейские ищут какое-нибудь подобие хлыста. Первый полицейский поднимает с пола кусок Электрокабеля фута в два длиной и с довольной миной подает его Метцгеру. Тот берет машинально,

не глядя.

Метцгер. Большое спасибо.

Первый полицейский. Пожалуйста!

Руди. Простите! Я же нечаянно!

Все молча ждут первого удара. Метцгер, не двигаясь, вдруг взывает к высшим силам.

Метцгер. Боже! Зачем ты сотворил такое зверье, как мы? Мы не имеем права жить! *(Роняет кабель, поворачивается, идет к лестнице, тяжело поднимается вверх по ступенькам.)*

Все застыли на месте. Дверь наверху открывается и захлопывается. Руди все еще стоит согнувшись. Проходит двадцать секунд.

Первый полицейский *(будто во сне)*. Господи, как же он до дому доберется?

Сыщик и к. *(будто во сне)*. Пешочком. Погода хорошая. Первый полицейский. А далеко он живет? Сыщик. В шести кварталах отсюда.

Занавес

69

■

Конечно, это было не совсем так. Я в точности все не запомнил. Но в общем примерно так оно и было.

Мне позволили выпрямиться, натянуть штаны. Умыться мне так и не дали. Но мистер Метцгер все же сумел привести в чувство этих не злых

от природы деревенских парней, служивших в полиции, показать им, до какого озверения они дошли.

Больше надо мной не издевались и немного погодя отвезли домой к маме.

Так как мистер Метцгер был мужем той женщины, которую я застрелил, он мог не только уговорить полицию больше меня не трогать, но и повлиять на общественное мнение всего города, чтобы меня все же простили. Что он и сделал — на другой день после моей несчастной оплошности поместил в нашей газете "Горнист-обозреватель" короткое заявление в траурной рамке:

"Моя	жена	убита	механизмом,	который	никогда	не	
должен	попадать	в	руки	ни	одному	человеку.	Называется
он	—	огнестрельное	оружие.	Он	выполняет	мгновенно,	на
расстоянии,	но	самое	черное	из	всех	человеческих	желаний:
убить.			"				

Вот оно, воплощение зла.

Мы не в силах покончить со злыми желаниями, одолевающими род человеческий. Но мы можем покончить с механизмами, которые осуществляют злые желания.

Я даю вам священную заповедь: РАЗОРУЖАЙТЕСЬ".

14

Пока я сидел в клетке, другие полицейские избили моего отца в полицейском управлении, в доме напротив. Не надо было ему отказываться от простого и легкого выхода, который предлагал начальник полиции Морисси. Но теперь было уже поздно.

Полицейские и вправду спустили его с лестницы, даже не стали делать вид, что он сам свалился. Очевидно, начались всякие дурацкие расистские разговоры. Отец потом вспоминал, как он лежал и кто-то, стоя над ним, издевательски спрашивал: "Ну что, нацист, нравится быть негритосом, а?"

Меня привели повидаться с отцом после моей встречи с Джорджем Метцгером. Отец лежал в подвальном помещении, избитый, в полном отчаянии.

— Взгляни на своего никудышного отца, — сказал он. — Ничтожный я человек.

Если он и удивился, увидев меня, то очень удачно это скрыл. Он с таким упоением играл роль беспомощного, нику-

70

дышного человека, что, по-моему, даже не заметил, что его собственный сын вымазан чернилами с ног до головы. Он даже не спросил меня, что со мной сделали. И ему в голову не пришло, что не надо бы мне слышать его покаянные речи о том, как его еще в юности совратили, как он стал пьянствовать и шляться по публичным домам. Я бы так никогда и не узнал, что они со стариком Гюнтером вытворяли, когда вся семья была уверена, что они посещают музеи и студии художников. И Феликс никогда бы об этом не узнал, если бы я ему не рассказал. А мама так ничего и не узнала, в этом я уверен. Я-то, конечно, ей ни слова не сказал. Может, двенадцатилетний мальчишка как-нибудь и примирился бы с этими откровениями — ведь все это было давным-давно. Но отцу еще вздумалось добавить, что он до сих пор регулярно ходит к девкам, хотя у него самая чудесная женушка на свете. Он совсем пал духом.

■ А полиция к этому времени поутихла. Наверное, многие опомнились, сами удивились, что это они натворили. Может, сам начальник полиции Морисси сказал: мол, хватит, кончайте. Адвоката у нас не было, защищать наши права было некому. Взять адвоката отец отказался наотрез. Но окружной прокурор или еще кто-то, как видно, велел, чтобы меня отправили домой и перестали валять дурака.

Во всяком случае, после свидания с отцом меня усадили на жесткую скамейку в коридоре и велели ждать. Меня оставили одного, я по-прежнему был весь в чернилах. Я мог встать и уйти. Полицейские ходили мимо, не обращая на меня никакого внимания. И тут молодой полицейский в новой форме остановился около меня с таким видом, будто ему велели вынести ведро с помоями, и сказал:

— А ну, встань, убивец. Велено тебя препроводить домой. На стене висели часы. Они показывали час ночи. Закон мной больше не занимался. По закону я был просто свидетелем по делу о преступной небрежности при хранении опасного оружия. Скоро должно было начаться следствие. Мне предстояло давать свидетельские показания.

■ И вот самый заурядный полицейский повез меня домой. Смотрел он на дорогу, но думал все время обо мне. Он сказал, что теперь я всю жизнь должен думать о миссис Метцгер, и

о том, что она лежит в холодной могиле, и что на моем месте он бы, может, руки на себя наложил. Он выразил надежду, что кто-нибудь из родственников миссис Метцгер рано или поздно отомстит мне, когда я меньше всего буду этого ждать — может, завтра, а может, когда я уже вырасту, буду полон надежд, сделаю блестящую карьеру, обзаведусь семьей. И тот, кто будет мне мстить, наверное, всласть поизмывается надо мной.

Я был слишком опустошен, полумертв, я ни за что не запомнил бы его имя, но он меня заставил его заучить. Звали его Энтони Сквайре, и он сказал, что мне непременно надо запомнить его имя ведь я, наверное, захочу на него наябедничать, потому что всем полицейским велено разговаривать с задержанными вежливо при любых обстоятельствах, а он всю дорогу будет обзывать меня и нацистским ублюдком, и кучей кошачьего дерьма и еще обругает меня всякими словами, печатными и непечатными, какие только придут на ум.

Он еще объяснил мне, почему он не в армии, хотя ему всего двадцать четыре года. У него обе барабанные перепонки лопнули, потому что и отец и мать били его в детстве чем ни попадя.

—А как-то они держали мою руку над газом, - сказал он.

—А с тобой такое вытворяли?

—Нет, — сказал я.

— А надо бы, — сказал он. — Хоть, может, уже поздно. Что толку запирасть конюшню, когда лошадь уже свели.

Конечно, я не весь разговор помню от слова до слова — память у меня стала дырявая. Но приблизительно так он и говорил. А одну фразу я запомнил точно, могу поклясться.

—Знаешь, как я тебя буду звать? — сказал он. — Сам буду звать и другим скажу.

—Не знаю, — сказал я.

И он сказал:

—Малый Не Промых.

■ Он не довез меня до самой двери. В доме было темно. Луны не было. Свет фар выхватил из темноты груды каких-то странных обломков. Вчера утром их тут не было. Конечно, это были обломки купола и знаменитого флюгера. Их свалили с машины начальника полиции и оставили тут, прямо у дороги.

Парадная дверь была заперта, как обычно. Ее всегда на ночь запирали, так как вокруг нас поселилась разная гольтьба и еще считалось, что у нас в доме много так называемых произведений искусства. У меня в кармане лежал какой-то ключ, но это был не тот ключ.

Это был ключ от оружейной комнаты.

■ Кстати, полицейский Энтони Сквайре много лет спустя стал начальником сыскного отделения, а потом заболел нервным расстройством. Теперь его уже нет в живых. Он подрабатывал за стойкой бара в новой гостинице "Отдых туриста", когда его смотровой глазок закрылся от взрыва старой доброй нейтронной бомбы.

■ Шоколадный крем по рецепту миссис Джино Маритимо. Шесть унций горького шоколада крошить в кастрюльку. Растопить в духовке при температуре 250°.

Две чайные ложки сахара растереть с четырьмя желтками, взбить до бледно-желтого цвета, смешать с растопленным шоколадом, прибавить четверть чашки крепкого кофе и две столовые ложки рома. Две трети чашки холодных сливок взбивать, пока не загустеют. Смешать с остальным. Осторожно размешать, разложить в чашки, поставить на двенадцать часов в холодильник.

На шесть порций.

■ Итак, День матери 1944 года закончился. А когда я оказался перед запертой дверью родного дома, уже начался следующий день. В темноте я пробрался к нашему черному ходу. Но и эта дверь была на запоре. Больше дверей в доме не было.

Никого не предупредили, что я вернусь, а слуги у нас все были приходящие. Значит, я мог разбудить только мою мать. Но я не хотел ее видеть.

Я ни разу не заплакал после того, что сделал я и что сделали со мной. А теперь я горько плакал, стоя у запертой двери своего дома. Рыдал я так горько и громко, что вдруг залаяли собаки. Кто-то в этой крепости завозился за дверью, пытаясь открыть сложный медный замок. Дверь отворилась. Передо мной стояла моя мать Эмма, тогда еще сама сущий ребенок. После окончания школы она никогда не несла никакой

ответственности, никогда не работала. Детей вырастила прислуга. Она была бесполезным украшением дома.

Считалось, что ничего плохого с ней никогда не случится. Но вот она стоит в тоненьком купальном халатике, и ни мужа, ни слуг, ни старшего сына, уже говорившего глубоким басом, около нее нет. А перед ней стою я — нелепый, писклявый последыш, убийца.

73

Ей вовсе и не захотелось обнять меня, осыпать поцелуями мою вымазанную чернилами головушку. Она не любила никаких проявлений чувств. Когда Феликс уходил на войну, она пожала ему руку, чтобы подбодрить его, а потом, когда поезд уже отошел на полмили, послала ему вслед воздушный поцелуй.

О господи, разве я хочу попрекнуть, обвинить в злодействе эту женщину, с которой я жил бок о бок столько лет. Когда отец умер, мы с ней поселились вместе, как старые-престарые супруги. У нас никого больше не было, вообще никого и ничего. Она не была плохая. Но в жизни просто ни на что не годилась.

— Чем это ты так вымазался? — спросила она. Она видела, что я весь в чернилах. Она берегла себя. Видно, она боялась дотрагиваться до меня — как бы не замараться.

Она совершенно не понимала, что мне нужно, и стояла в дверях, загораживая вход и мешая мне войти. А мне только и надо было лечь в постель и укрыться с головой. Только этого я и хотел. Я до сих пор, в общем, только к этому и стремлюсь.

А тогда она мешала мне войти, как будто колебалась — впустить меня или нет. И расспрашивала: скоро ли придет домой отец, и уладится ли все наконец, и так далее.

Ей хотелось услышать, что все хорошо, и я ей так и сказал. Я сказал, что отец в порядке и я тоже в порядке, сказал, что отец скоро вернется домой. Ему только надо еще кое-что объяснить. Она меняпустила, и я лег спать, как и мечтал.

Такие выдумки всегда успокаивали ее, изо дня в день, из года в год, почти до конца жизни. Но к концу жизни она стала воинственной и язвительной — этаким провинциальный Вольтер, циник, скептик и так далее. Вскрытие обнаружило, что у нее в мозгу было несколько небольших опухолей, и доктора сказали, что это, безусловно, и вызвало перемену в ее характере.

■ Отца приговорили к двум годам тюрьмы, а Джордж Метц-гер подал на него и на маму в суд и отсудил все их имущество, оставив им только самое необходимое из мебели и кое-как залатанную крышу над головой. Оказалось, что все состояние матери давно переведено на имя отца.

Отец не старался себя выгородить. Не слушая ничьих советов, он так и не пригласил адвоката. Он признал себя виновным сразу же, как только его арестовали, и на следствии тоже признавал себя виновным, ни слова не сказав о том, что его совсем недавно так избili, что живого места не оста-

74

лось, хотя все это прекрасно видели. Взяв на себя роль своего собственного и моего адвоката, он даже не заявил, что наши сограждане грубо нарушили закон, вымазав меня чернилами и выставив на посмеище, хотя мне было всего двенадцать лет.

Наших сограждан он вообще ни в чем не винил. Зато они его винили во всех грехах. И мой отец, такой позер и краснобай, оказался хрупким, как бумажный стаканчик. Видно, он всегда чувствовал, что ни черта не стоит. Держался он только на том, что деньги плыли и плыли ему прямо в руки, а на них можно было купить что угодно.

А меня несказанно удивило вовсе не то, что отец оказался таким нестойким. Куда поразительней было то, что ни мама, ни я ничему не удивились.

Все шло по-прежнему.

■ Когда мы вернулись домой после следствия, которое, кстати, проводилось как раз накануне похорон миссис Метцгер, нам позвонил из Форт-Беннинга мой брат Феликс. Он сказал, что командир рекомендовал послать его через три месяца в офицерскую школу. Выдвинул он его потому, что видел, как хорошо Феликс распоряжался, когда их отряд везли в военном автобусе.

Я ничего не говорил, но все слышал по параллельному аппарату.

Феликс спросил, как у нас дела, но ни отец, ни мать ему не сказали правды. Мать пошутила: - Ты же нас знаешь. Мы как старушка Миссисипи — все катим волны вперед.

напросто уступил Джорджу Метцгеру без всяких судов. По крайней мере не пришлось бы выслушивать показания свидетелей, подтверждавших, что он восхищался Гитлером, никогда по-настоящему не работал, только воображал себя художником, нигде, кроме средней школы, не учился, что его еще в юности несколько раз арестовывали в разных городах, что он постоянно обижал своих родных — честных тружеников — и так далее, и так далее.

В потоке издевок мог бы потонуть и крейсер. Молодой

75

адвокат, представлявший интересы Джорджа Метцгера, вначале предлагал свои услуги отцу. Звали его Бернард Кетчем, и братья Маритимо привели его на следствие и уговаривали отца нанять его и поручить ему все дело. Этого адвоката не взяли на военную службу, так как он был одноглазый. Когда он был мальчишкой, товарищ выбил ему глаз выстрелом из игрушечного ружья.

Кетчем беспощадно обличал отца, так же как обличал бы Метцгера, если бы его нанял отец. Разумеется, он все время напоминал присяжным, что миссис Метцгер была беременна. Ее нерожденного младенца он сделал главным лицом в городе. Кетчем даже называл это дитя не "он", а "она", потому что врачи говорили, что это была девочка. И хотя Кетчем, конечно, ее никогда не видел, он трогательно рассказывал, какие у нее малюсенькие точеные пальчики на ручках и ножках.

Много лет спустя нам с Феликсом пришлось нанять того же Кетчема и просить его возбудить дело против Комиссии по координации ядерных исследований, строительной компании братьев Маритимо и компании по производству декоративного цемента "Долина Огайо" по обвинению в убийстве нашей матери при посредстве радиоактивной цементной каминной доски.

Тогда мы с Феликсом и получили внушительную сумму денег и смогли купить этот отель, взяв старика Кетчема в пайщики.

Кетчему я дал такое указание:

— Не забудьте сказать на суде, какие прелестные пальчики на ручках и ножках были у моей матери.

■ После того как отец проиграл дело, пришлось отпустить всех слуг. Платить нам было нечем, и Мэри Гублер вместе с остальными покинула нас, обливаясь слезами. Отец все еще сидел в тюрьме, так что он был избавлен от присутствия при этом горьком расставании. И ему не пришлось пережить то жуткое утро, когда мама и я проснулись в своих комнатах, одновременно вышли на галерею второго этажа и стали прислушиваться и принохиваться.

В доме ничего не стряпали.

И никто не убирал залу внизу, и горничная не ждала, пока мы встанем и можно будет убрать наши постели.

Это было очень странно.

Конечно, я тут же приготовил завтрак. Мне это было легко и привычно. Так началась моя жизнь в роли домашней прислуги — сначала у матери, а потом и у обоих моих родителей. До конца своей жизни они ни разу не готовили еду, не

76

мыли посуду, не стирали, никогда не стелили постели, не вытирали пыль, не пылесосили ковры, не подметали, не покупали продукты. Все за них делал я и при том неплохо учился в школе.

Вот какой я был хороший мальчик!

■ Яичница по рецепту тринадцатилетнего Руди Вальца. Нарезать, сварить и откинуть на сито две чашки шпината. Добавить две столовые ложки сливочного масла, чайную ложку соли и щепотку мускатного ореха. Подогреть и переложить в три огнеупорные чашки или мисочки. Сверху залить яйцом, посыпать тертым сыром. Запекать пять минут при температуре 375°.

Три порции: для папы-медведя, для мамы-медведицы и для сынишки-мишки, который готовил, а потом вымоет посуду и все уберет.

■ Выиграв процесс, Джордж Метцгер с двумя детьми уехал во Флориду. Насколько мне известно, с тех пор в Мидлэнд-Сити никто из них не показывался. Да и прожили они у нас совсем недолго. Не успели они прижиться, как неизвестно почему откуда ни возьмись прилетела пуля и угодила прямо в лоб миссис Метцгер. И они ни с кем не успели близко познакомиться, так что и переписываться им было не с кем.

Двое их детей, Юджин и Джейн, после убийства почувствовали себя в школе такими же отщепенцами, как и я. Теперь мы оказались на одной ступеньке с несколькими ребятами, чьих отцов или братьев убили на войне. Все мы были неприкасаемыми, прокаженными — не по своей вине, а потому, что всех нас коснулась рука Смерти.

Вполне можно было бы заставить нас звонить на ходу в колокольчик — так в темные средние века прокаженных заставляли предупреждать о своем приближении.

Забавно.

■ Юджина и Джейн, как я недавно узнал, называли так в честь Юджина В. Дебса, героя рабочего движения из Терре-Хота, в Индиане, и Джейн Аддамс из Седарвилла, штат Иллинойс, получившей Нобелевскую премию за свою общественную деятельность. Дети Метцгера были гораздо младше меня, и мы учились в разных школах. И только совсем недавно я узнал, что они были такими же "прокаженными", как и я, узнал, как им жилось во Флориде, и так далее, и так далее.

Источником этой информации о семье Метцгеров был, конечно, их адвокат, а теперь и наш адвокат Бернард Кетчем.

Только в пятьдесят лет, то есть через тридцать восемь лет после того, как я одной пулей погубил миссис Метцгер, а заодно и себя, и своих родителей, я решился спросить про Метцгеров. Было это у плавательного бассейна в два часа ночи. Все обитатели отеля спали, да их было не так уж много. Был там Феликс со своей новой, пятой женой. Был там и Кетчем со своей первой и единственной женой. И я там был. А где была пара для меня? Кто знает?

Иногда мне кажется, что у меня гомосексуальные наклонности, но я не уверен. Вообще я никогда никого еще не любил. И алкоголя в рот не брал, разве только в лекарствах, куда входил спирт в гомеопатических дозах, — а тут все остальные пили шампанское. Если хотите знать, с двенадцати лет я не пил ни кофе, ни чая, даже не принимал лекарств: ни аспирина, ни слабительных, ни от изжоги, ни антибиотиков. Это особенно странно для дипломированного фармацевта, единственного и бессменного ночного дежурного в аптеке в Мидлэнд-Сити, где я работал много-много лет. Так тому и быть.

Я только что угостил своих собеседников и угостился сам: в качестве сюрприза я заблаговременно, еще вчера, приготовил шоколадный крем. И еще порция осталась.

Нам было о чем подумать и поговорить и в узком кругу, и во всеуслышание, потому что наш родной город недавно стал пустыней после взрыва нейтронной бомбы. И наши смотровые глазки тоже могли бы навеки закрыться, если бы мы не уехали оттуда — покупать этот отель.

Когда мы услышали, что в нашем родном городе действительно произошел этот взрыв, я процитировал строфу из Уильяма Купера¹, которую давным-давно написала мне на память очень милая преподавательница английского языка, отвлекая меня от мрачных мыслей о самоубийстве, — тогда я был еще совсем мальчишкой:

Господь, творящий чудеса.

Ступает по волнам И мчится с бурей в небесах.

Спеша на помощь к нам.

И когда мы доели шоколадный крем, я спросил Кетче-ма:

¹ Английский поэт (1731—1800). 78

— Как там поживают Метцгеры?

Феликс уронил ложку. В нашей семье давным-давно категорически воспрещалось расспрашивать о Метцгерах. Это табу было наложено главным образом ради меня. А тут я его сам нарушил, так же естественно, как подавал сладкое.

Старый Кетчем тоже удивился:

— Вот уж не думал, что кто-то из семьи Вальцев может вдруг спросить, как поживают Метцгеры!

— Я сам только раз в жизни спросил про них, — сказал Фелике. — Когда вернулся из армии. И больше не спрашивал. В армии я был вне опасности, завязал полезные знакомства и был уверен, что смогу хорошо зарабатывать и стану важной персоной.

Он действительно стал весьма важной персоной. Впоследствии он стал президентом Эн-би-си, жил в особнячке на крыше небоскреба, разъезжал в шикарной машине и так далее. Но его, как говорится, хватило ненадолго. Его выкинули из Эн-би-си двенадцать лет тому назад, когда ему было всего сорок четыре, и он никак не мог найти подходящего места. Для него этот отель был просто подарок судьбы.

— Когда я вернулся домой, я был, так сказать, "гражданином мира", — рассказывал Феликс. — Я мог жить в любом городе, в любой стране, а мог и не жить. Кому какое дело! В любом месте, где я мог поставить перед собой микрофон, я чувствовал себя как дома. И я отнесся к отцу, и к матери, и к брату как к жителям какого-нибудь несчастного, разрушенного войной городка, через который я проезжал. Они мне жаловались на свою жизнь, как жаловались пострадавшие в разрушенных городах, а я им машинально выражал сочувствие. Я им и вправду сочувствовал. Честное слово. Но я пытался во всем найти светлую сторону, как обычно стараются делать проезжие, и я спросил: что же эти Метцгеры, никогда не имевшие ломаного гроша, теперь будут делать со своим состоянием чуть ли не в миллион долларов? И матушка, которая была самым безобидным существом на свете, пока у нее не разрослись под конец все эти опухоли, — продолжал Феликс, — вдруг закатила мне пощечину.

А тут еще и отец заорал на меня: "Какое нам дело, что" Метцгеры будут делать со своими капиталами? Это их деньги, а не наши, понял? И чтобы я никогда больше про это не слышал! Мы бедные люди! К чему нам засорять себе мозги сплетнями о всяких миллионерах!"

■ По словам Кетчема, Джордж Метцгер увез свое семейство во Флориду потому, что там, в Седар-Ки, продавалась

79

какая-то еженедельная газета, потому, что там всегда тепло, и еще потому, что это очень далеко от Мидлэнд-Сити. За небольшую сумму он купил газету, а на остальные деньги — две тысячи акров земли около города Орlando.

— Правду говорят, что у дураков деньги не держатся, но бывает и по-другому, — сказал Кетчем по поводу этого капиталовложения, сделанного в 1945 году.—Эта неприглядная пустошь, друзья и сограждане, которую Джордж записал на имя своих детей — они и сейчас ею владеют, — превратилась в волшебный ковер, на котором раскинулась сказочная страна для родителей с детьми, прославившаяся на весь мир, — страна Уолта Диснея, "Диснейленд"!

Журчание воды сопровождало нашей беседе. Мы были далеко от океана, но бетонный дельфин рядом изрыгал тепловатую струю в плавательный бассейн. Этот дельфин нам достался вместе с отелем, как и метрдотель Ипполит Поль де Милль, занимавшийся вууду¹. Одному богу известно, с какими тайными источниками связан дельфин. Одному богу известно, с какими тайнами связан Поль де Милль. Этот Поль де Милль утверждал, что он, если захочет, может воскресить давно умершего человека и тот встанет и будет разгуливать повсюду.

Я ему не поверил.

— Я вас потрясаю, — сказал он по-креольски. — В один прекрасный день я вам это показываю.

■ По словам Кетчема, Джордж Метцгер все еще жив, и живет он очень скромно — ему это нравится — и по-прежнему издает газету в Седар-Ки. У него есть в запасе небольшой капитал, так что ему все равно, покупают читатели его газету или нет. Но он, между прочим, сразу же потерял многих подписчиков: они стали выписывать новую газету, которая не разделяла убеждений этого Метцгера насчет войны, огнестрельного оружия, и что все люди — братья, и так далее. Но его дети — люди богатые.

—А кто-нибудь читает его газету? — спросил Феликс.

—Нет, — сказал Кетчем.

—Он не женился? — спросил я.

—Нет, — сказал Кетчем.

Пятая жена Феликса, Барбара, - первая по-настоящему

¹ Таинственные обряды или приемы, связанные с колдовством, знахарством, заклинаниями и ведовством, распространенные среди негров Вест-Индии и юга Америки (возможно, африканского происхождения) .

80

любящая его жена — сказала, что ей страшно думать, как это старый Джордж Метцгер сидит один-одинешенек в Седар-Ки. Сама она родилась в Мидлэнд-Сити, как мы все, и окончила там обычную школу. Она работала в рентгеновском кабинете. Там они с Феликсом и познакомились. Она делала снимок его плеча. Ей было всего двадцать три года. Теперь она ждала ребенка от Феликса и бесконечно радовалась этому. Она свято верила, что дети — радость жизни.

Она носила первого законного ребенка Феликса. У него был еще незаконный ребенок в Париже, родившийся во время войны, и где он теперь — неизвестно. А все предыдущие его жены, конечно, знали, как предохранить себя.

И прелестная Барбара Вальд говорила про старого Джорджа Метцгера:

—Но ведь у него есть где-то дети, они должны во что бы то ни стало узнать, какой он герой, они должны его обожать.

—Да они с ним уже сколько лет не разговаривают, — с не скрываемым злорадством проговорил Кетчем. Он явно радовался, когда у людей неприятности. Это его забавляло.

Барбара была поражена.

— Почему? — спросила она.

Кстати, родные дети Кетчема с ним тоже давно не разговаривали и давно удрали из Мидлэнд-Сити — потому и спаслись от взрыва нейтронной бомбы. У него было два сына. Один дезертировал в Швецию во время вьетнамской войны и лечил там алкоголиков. Другой стал сварщиком на Аляске: он провалился на всех экзаменах в Гарвардской школе права, где учился когда-то его отец.

— Твой ребеночек будет задавать тебе этот вопрос, и очень скоро, — сказал Кетчем; его забавляло и все плохое, что случалось с ним самим, а не только чужие несчастья. — Так и спросит: почему, почему, почему?

Выяснилось, что Юджин Дебс Метцгер жил в Афинах, что в Греции, и был владельцем нескольких танкеров, плававших под флагом Либерии.

Его сестра, Джейн Аддамс Метцгер, как я помню, толстая некрасивая девочка —та самая, которая застала уже бездыханную мать около

включенного пылесоса, — была, по словам Кетчема, все такая же толстая и неинтересная, жила с драматургом, чехом-эмигрантом, на Молокаи, одном из Гавайских островов, где у них был конный завод — они выращивали арабских лошадей.

— Она мне прислала пьесу своего возлюбленного, — сказал Кетчем, — думала, что я, может быть, найду для нее продюсера; ей, наверно, кажется, что у нас в Мидлэнд-Сити, штат Огайо, этих продюсеров как собак нерезаных, ступить некуда.

А мой брат Феликс перефразировал известный стишок о

81

том, что "на Бродвее в Нью-Йорке россыпь огней, россыпь разбитых сердец", заменив "Бродвей" на "Гаррисон-авеню" (это главная улица в Мидлэнд-Сити).

— На Гаррисон-авеню в Мидлэнд-Сити россыпь огней, россыпь разбитых сердец, — продекламировал он. Потом встал и пошел за новой бутылкой шампанского.

Но на лестнице главного входа в отель растянулся какой-то гаитянский художник — его сморил сон, пока он ждал туристов, любого туриста, который возвращался после веселого вечера в городе. У художника было с собой несколько ярких, кричащих картин, тут были и Адам с Евой и змием-искусителем, и сценки из жизни гаитянской деревни, причем на этих картинах все люди держали руки в карманах — художник рисовать руки не умел, — и все эти шедевры были расставлены на лестнице по обе стороны.

Феликс его не потревожил. Он осторожно переступил через спящего. Если бы кому-нибудь показалось, что Феликс нарочно толкнул его ногой, Феликсу было бы несдобровать. Тут положение особое, не то что в колониях. Гаитянское государство родилось после единственного в мире успешного восстания рабов. Попробуйте представить себе, что это такое. В истории до тех пор еще не было случая, чтобы восстание рабов окончилось победой, чтобы рабы добились самоуправления, сами наладили связи с другими народами и выгнали чужаков, которые считали, что гаитянам на роду написано быть рабами. И когда мы покупали этот отель, нас предупредили, что каждому белому или вообще светлокожему грозит тюрьма, если он ударит гаитянина или даже просто обругает его — словом, будет вести себя с ним как хозяин с рабом. И это было вполне понятно.

■

Пока Феликса не было, я спросил Кетчема, хорошую ли пьесу написал чех-эмигрант. Он сказал, что о сем ни он, ни Джейн Метцгер судить не могут: пьеса написана по-чешски.

- Мне сказали, что это комедия, - добавил он. — Может быть, ужасно смешная.

- Наверное, куда смешнее моей пьесы, — сказал я.

А дело в том, что двадцать три года назад, в 1959 году, я участвовал в конкурсе драматургов, организованном фондом Колдуэлла, и, как ни странно, победил; вместо премии мою пьесу поставил "Театр де Лис" в Гринич-Вилледж. Пьеса называлась "Катманду". Героем был Джон Форчун, владелец молочной фермы, тот самый друг, а потом враг моего отца, который похоронен в Катманду.

Тогда я жил у моего брата и его третьей жены, Женевье-

82

вы. Жили они в Гринич-Вилледж, и я спал у них на диване в гостиной. Феликсу исполнилось всего тридцать четыре года, Н но он уже руководил радиостанцией и собирался стать директором телевизионного управления рекламного агентства "Баттен, Бартон, Дарстайн и Осборн". И он уже шил себе Н костюмы только в Лондоне.

Пьеса "Катманду" прошла всего один раз. Впервые я Н оказался вдаль от Мидлэнд-Сити, в городе, где меня никто не мог называть Малый Не Промых. Всех критиков Нью-Йорка почему-то очень смешило, что автор "Катманду" — дипломированный фармацевт, окончивший университет в штате Огайо. Они сразу поняли, что я не бывал ни в Индии, ни в Непале. Они пришли бы в восторг, если бы узнали, что и писать-то эту пьесу я начал еще в средней школе. А как они растрогались бы, если бы узнали, что учительница английского языка сказала мне, что я непременно должен стать писателем и во мне теплится искра божия, причем сама она никогда нигде не бывала, ничего путного не видела и к тому же была старой девой. А какое подходящее имя было у этой особы — Наоми Шоуп.

Она пожалела меня, но я уверен, что ей и саму себя было жаль. Жуткая у нас была жизнь! Она была странная, одинокая, у нас ее считали чудачкой, потому что она вся ушла в чтение книжек, это была ее единственная радость. А я был вообще прокаженным. Да и дружить с ровесниками мне было некогда. После занятий в школе я бежал закупать продукты, а дома сразу же начинал готовить ужин. Я стирал все белье в нашей старой, скверной стиральной машине, стоявшей в котельной. Я подавал ужин отцу и маме, иногда и гостям, а потом мыл посуду. Посуда накапливалась с утра после завтрака и ленча.

Потом я делал уроки, пока у меня не слипались глаза, и валился в постель. Никогда не хватало сил раздеться. А вставал я в шесть утра, гладил белье, пылесосил в комнатах. Потом подавал завтрак отцу и маме и ставил в духовку ленч. Потом застилал все постели и бежал в школу.

— А что же делают твои родители, пока ты хозяйничаешь? — спросила мисс Шоуп. Она вызвала меня в свой маленький кабинет после урока, на котором я крепко спал. На стене ее кабинета висела фотография знаменитой поэтессы Эдны Сент-Винсент Миллей. И мисс Шоуп пришлось объяснять мне, кто это такая.

Я стеснялся откровенно рассказывать старой мисс Шоуп, что делают мои родители целыми днями. Они слонялись по

83

дому как призраки, в купальных халатах, в ночных шлепанцах — если только не ждали гостей. Они часами смотрели куда-то в пространство. Иногда они осторожно обнимали друг друга и вздыхали. Они были похожи на привидения.

И в следующий раз, когда Ипполит Поль де Милль предложит мне вызвать какого-нибудь мертвеца, я скажу:

—Навидался я их! Хватит!

■

Так что я сказал мисс Шоуп, что отец и плотничает дома, и, конечно, много пишет и рисует, и даже имеет антикварное дельце. А по правде говоря, отец в последний раз брал в руки инструменты в тот день, когда он сбросил купол с дома и переломал все свои винтовки. Я никогда не видел, чтобы он рисовал или писал красками. А его антикварная торговля состояла в том, что он распродал понемногу остатки добычи, привезенной из Европы в лучшие времена.

На эти деньги мы покупали еду и топливо. И еще одним источником средств было небольшое наследство, завещанное моей матери родственником из Германии. Она получила эти деньги уже после окончания судебной тяжбы. Иначе и их забрали бы Метцгеры. Но основную поддержку нам оказывал Феликс — он был необычайно щедр, и нам никогда не приходилось о чем-то его просить.

И я сказал мисс Шоуп, что мама работает в саду и помогает нам: мне — по хозяйству, а отцу — в его антикварном деле, ведет переписку с друзьями, очень много читает и так далее.

Однако вызвала меня мисс Шоуп по другому поводу: она прочитала мое сочинение на заданную тему "Кто из граждан Мидлэнд-Сити мой любимый герой?".

Моим любимым героем был Джон Форчун, который умер в Катманду, когда мне было всего шесть лет. У меня даже уши загорелись, когда мисс Шоуп со слезами на глазах сказала мне, что за сорок лет работы в школе она не читала лучшего сочинения.

—Ты непременно должен стать писателем, — сказала она, —

и ты должен покинуть этот убийственный город как можно скорее. И тебе надо найти то, что у меня не хватило духу искать, — добавила она. — Именно то, что мы все должны искать, не сдаваясь.

—А что это? — спросил я.

Вот что она ответила:

—Свой собственный Катманду...

84

■

Она призналась, что внимательно наблюдала за мной последнее время.

—И ты словно разговариваешь сам с собой.

—А с кем мне еще разговаривать? — сказал я. — Да я и не разговариваю по-настоящему.

—Вот как? — удивилась она. — А что же ты делаешь?

—Ничего, — сказал я. Я никому не рассказывал об этом и ей тоже говорить не стал. — Просто у меня такая нервная привычка, — сказал я.

Конечно, ей понравилось бы, если бы я открыл ей все свои тайны, но я так и не доставил ей этого удовольствия.

Я решил, что безопаснее всего, мудрее всего молчать как могила и быть холодным как лед и с ней, и со всеми другими.

А ответить на ее вопрос я мог бы так: я просто напеваю себе под нос. Это было джазовое пение — изобретение негров. Они таким пением без слов прогоняли тоску и печаль, и я тоже. "Бууби дууби хопхоп", — пел я себе под нос и еще: "Скед-ди уии, скиди уа" — и так далее. "Бииди оп! Бииди оп!"

И мили летели мимо, и годы летели мимо. "Фуудли йа, фуудли йа. Занг риипа доп. Фаааааааааааааааа!"

■

Торт "Линцер" (по рецепту из газеты "Горнист-обозреватель"). Смешать полчашки сахара с чашкой сливочного масла, хорошенько растереть. Добавить два желтка, пол чайной ложки лимонной цедры.

Смешать чашку муки, четверть ложки соли и чайную ложку корицы, четверть ложки гвоздики. Высыпать в масло, растертое с сахаром. Добавить чашку миндаля (не жареного) и чашку жареных лесных орехов, нарубленных очень мелко.

Раскатать две трети этой массы до толщины в четверть дюйма. Выложить на глубокий противень. Густо смазать малиновым вареньем (полторы чашки). Раскатать остальную массу, нарезать полосками длиной около десяти дюймов. Слегка закрутить и положить сверху сеткой. Защипнуть края. Разогреть духовку до 350° и выпекать около часа, затем остудить при комнатной температуре.

Этот торт был одним из самых популярных в Вене, столице Австрии, перед первой мировой войной!

■

Я ничего не говорил отцу и матери о том, что хочу стать писателем, пока не угостил их неожиданно своим изделием — тортом "Линцер" по рецепту газеты "Горнист-обозреватель".

85

Когда я подал торт, отец как-то встряхнулся, ожил и сказал, что торт словно перенес его на сорок лет назад. И прежде чем он снова отключился от действительности, я ему передал то, что мне сказала Наоми Шоуп.

—Полуженщина-полуптица, — сказал он.

—Простите, сэр? — сказал я.

—Мисс Шоуп, — сказал он.

—Не понимаю, — сказал я.

—Она, несомненно, сирена, — сказал он. — А сирена — это полуженщина-полуптица.

—Я знаю, что такое сирена.

—Значит, ты знаешь, как они привлекают моряков своими сладкими песнями и те разбиваются о скалы.

—Да, сэр, — сказал я. После того как я застрелил миссис Метцгер, я стал всех взрослых мужчин величать "сэр". Моя жуткая жизнь становилась от этого немножко веселее, так же как от негритянских песенок без слов. Я представлял себя каким-то "нижним чином", ниже некуда.

—А что сделал Одиссей, чтобы безнаказанно проплыть мимо сирен? — спросил отец.

—Забыл, — сказал я.

—Он сделал то, что я советую и тебе делать каждый раз, когда кто-нибудь скажет, что у тебя есть какой-то талант, —сказал он.

—Хотел бы я, чтобы мой отец сказал мне те слова, что я говорю тебе.

—Что именно, сэр? — сказал я.

—Залепи уши воском, мой мальчик, и привяжи себя к мачте, — сказал отец.

■

—Но я написал сочинение про Джона Форчуна, и она сказала, что сочинение отличное, — настаивал я. Вообще я очень редко на чем-нибудь настаивал. После того как я посидел в клетке, весь измазанный чернилами, я пришел к выводу, что лучше всего и для меня, и для окружающих, если я ничего не буду хотеть, ничем не буду восторгаться, по возможности ни к чему не буду стремиться, чтобы никогда больше никого не обидеть, никому не повредить.

Иными словами, я не смел прикасаться ни к чему на этой планете — будь то мужчина, женщина, ребенок, вещь, животное, растение или минерал, — может, все они подсоединены к контактному детонатору, к взрывчатке. Как шархнет!

И для моих родителей было неожиданностью то, что я весь прошлый месяц работал до поздней ночи над сочинением на тему, которая меня очень волновала. Родители никогда не интересовались, чем я занимаюсь в школе.

86

Школа...

—Ты написал про Джона Форчуна? — спросил отец. — Но что же ты мог про него написать?

—Я покажу тебе это сочинение, — сказал я. — Мисс Шоуп мне его вернула.

—Нет-нет, не надо, — сказал отец. — Расскажи своими словами. — Теперь я думаю, что он и читать-то почти не умел.

—Мне интересно, что ты про него написал, ведь я с ним был довольно близко знаком.

—Знаю, — сказал я.

—Почему же ты меня не расспросил о нем? — поинтересовался отец.

—Не хотел тебя беспокоить, — сказал я. — Тебе и так приходится думать о многом. — Я знал, как отцу больно вспоминать о том, что из-за своего преклонения перед Гитлером он потерял такого друга, как Джон Форчун, но ничего не добавил. Я и так принес ему достаточно горя. Я всем принес одно горе.

— Он вел себя как дурак, — сказал отец. — Разве можно в Азии искать мудрость? Та проклятая книжка погубила его.

— Знаю — "Потерянный горизонт" Джеймса Хилтона, — сказал я. Это был очень популярный роман, вышедший в 1933 году, через год после того как открылся мой смотровой глазок. В романе была описана крошечная страна, совершенно отрезанная от всего мира, где люди старались не обижать друг друга, не делать никому зла, где все были счастливы и оставались вечно молодыми. Хилтон написал, что эта воображаемая райская страна находится где-то в Гималайских горах и называется "Шангри-Ла".

Прочитав эту книгу, Джон Форчун после смерти жены уехал в Гималаи. В те времена даже самые образованные люди, не чета Джону Форчуну, нередко верили в царство мира, радости, душевного покоя, которое на самом деле где-то существует и его можно отыскать, как спрятанное сокровище капитана Кидда. В Катманду часто бывали разные путешественники, но им приходилось идти туда тем же путем, которым прошел Джон Форчун, — тропой от границы Индии, через горы и джунгли. Дорогу туда проложили только в 1952 году, когда я получил диплом фармацевта.

Господи боже, а теперь там построен огромный аэропорт. Мой зубной врач Герберт Стакс был там уже три раза, и у него в приемной полным-полно всяких непальских сувениров. Вот почему ни он, ни его семья не пострадали от нейтронной бомбы. Они как раз были тогда в Катманду.

87

■ Отец удивился, словно я каким-то сверхъестественным способом узнал и про Джона Форчуна, и про "Потерянный горизонт".
— Откуда ты все это знаешь? — спросил он меня.
— Я просмотрел все старые газеты в нашей библиотеке.
— Да? — удивился отец. По-моему, он даже не знал дороги в библиотеку-читальню. — А разве там хранятся старые газеты? — недоверчиво спросил он.
— Да, сэр, — сказал я.
— Господи, сколько же их там скопилось? — сказал он. — День за днем, неделя за неделей...
Он еще спросил меня, многие ли ходят туда "рыться в этом старье". Может быть, он был недоволен тем, что газеты с его собственным прошлым не выбросили на помойку. А я там наткнулся на его письма в редакцию, в которых он превозносил Гитлера.
— Так-так, — сказал он. — Но я надеюсь, что книжку Хилтона ты не станешь читать?
— "Потерянный горизонт"? — спросил я. — Да я ее уже прочитал.
— Ты ее всерьез не принимай, — сказал он. — Все это чушь.
Тут у нас такое же Шангри-Ла, как и везде.
Теперь, когда мне стукнуло пятьдесят, я думаю, что так оно и есть.
И тут, в Гаити, я впервые сформулировал эту мысль, которая так мучила меня в отрочестве. Скоро по желанию нашего правительства мы должны будем вернуться в Мидлэнд-Сити, указать, то, что мы хотим из личного имущества, и предъявить правительству иск о возмещении убытков. Теперь уже ясно: весь наш округ станет лагерем для беженцев, может, его даже обнесут колючей проволокой.
Мрачная мысль: а вдруг взрыв нейтронной бомбы не такая уж случайность?
Так или иначе в ожидании нашего мимолетного свидания с Мидлэнд-Сити я как-то в разговоре дал ему кодовое название, которое Кетчем и мой брат с женой приняли без всяких возражений. Я назвал его "Шангри-Ла".

17

В тот вечер, когда я сказал отцу, что мне хочется стать писателем, в тот вечер, когда мы ели торт "Линцер", отец велел мне стать фармацевтом, и я его послушался. Как говорил Феликс, отцу с матерью не хотелось терять своего последнего

88

слугу, и их можно было понять: они и так уже много всего потеряли.

И отец медленно, словно совершая ритуал, раскурил сигару, сунул обгорелую спичку в остатки торта и снова сказал:

— Стань фармацевтом! Займись делом своих предков. У нас в семье никаких талантов в области искусства никогда не было и не будет! Ты понимаешь, как мне больно это говорить. Мы — люди деловые, и надеяться на успех в другой профессии нам нечего.

— Феликс у нас одаренный, — сказал я.

— Любой цирковой уродец по-своему талантлив, — сказал отец. — Да, такой бас, как у Феликса, редко встретишь. Но ведь обычно он читает чужой текст, который ему пишут другие, по-настоящему одаренные люди. А слышал бы ты, что он несет, когда перед ним нет текста!

Я ничего не ответил, и он продолжал:

— И ты, и я, и твоя мать, и твой брат — потомки солидных, здоровых, твердолобых, лишенных воображения, лишенных музыкального слуха, неотесанных немцев, единственной добродетелью которых было умение работать не покладая рук, пока хватит сил. Посмотри на меня — мне льстили, за мной ухаживали, мне ввали всякий вздор и сбивали меня с пути, а мне было предназначено судьбой заниматься делом — быть может, и скучным, но полезным для общества. Не отрекайся от своей судьбы, как я. Займись тем, что тебе на роду написано. Стань фармацевтом!

■ И я стал фармацевтом. Но я не бросил писать, хотя больше никому об этом не рассказывал. Я резко оборвал бедняжку Наоми Шоуп, как только она завела речь про мою "искру божью". Я ей сказал, что не желаю изменять своей первой любви — фармацевтике. Так я потерял своего единственного друга и снова остался один в целом мире.

Когда я поступил в университет и объявил, что хочу специализироваться по фармацевтике, мне позволили дополнительно заниматься и на других факультетах. И на втором году обучения, никому об этом не докладывая, я прошел курс драматургии. Тогда я уже наслышался про писателя Джеймса Тэрбера, который тоже учился в Колумбусе, а потом уехал в Нью-Йорк и стал писать смешные истории про таких же людей, каких было полно в Мидлэнд-Сити. Самым шумным успехом пользовалась его пьеса "Настоящий мужчина".

"Скууби дууби ду-оп! Дидли-а! Дидли-а!" А вдруг я смогу писать, как он?

И я переделал свое сочинение про Джона Форчуна в пьесу.

89

■ А кто же в это время занимался хозяйством? Конечно, по-прежнему я. И так же, как я не был типичным школьником, я не стал и типичным студентом. Я все еще жил дома, но ездил в Колумбус — сто миль в оба конца — раза три-четыре в неделю, в зависимости от расписания занятий.

Честно говоря, всякую вкусную стряпню я забросил. Я без конца кормил родителей консервами и к тому же иногда подавал обед уже за полночь. Мама и отец немножко ворчали, но, в общем, не сердились на меня.

Кто же платил за мое обучение? Конечно, мой брат.

■ Да, теперь я признаю, что "Катманду" — дурацкая пьеса. Я так долго с ней возился — уже когда получил диплом и начал работать ночным дежурным в аптеке Шрамма — только из-за нескольких заключительных слов. Они заслуживали того, чтобы прозвучать со сцены. Притом авторство принадлежало не мне: это были последние слова самого Джона Форчуна, которые я нашел в старом номере "Горниста-обозревателя".

Дело было вот в чем: Форчун исчез, пропал без вести где-то в Азии в 1938 году. Сначала он присылал открытки — из Сан-Франциско, потом из Гонолулу, затем с островов Фиджи, из Манилы, из Мадраса и так далее. Но потом открытки перестали приходить. Последняя пришла из Индии, из города Агра, где находится Тадж-Махал.

В 1939 году, задолго до того, как в Мидлэнд-Сити узнали, что в конце концов случилось с Форчуном, в газете "Горнист-обозреватель" появилось письмо, в котором были такие слова: "По крайней мере он видел Тадж-Махал".

Но потом, как раз в конце второй мировой войны, в газету пришло письмо от английского врача, который провел много-много лет в плену у японцев. Звали его Дэвид Брокен-шайр. Мне легко припомнить его фамилию, потому что он стал одним из персонажей моей пьесы.

Этот доктор Брокеншайр прошел один всю пешеходную тропу до Катманду. Он изучал народную медицину. Он уже • прожил год в Непале, и вот однажды несколько местных жителей принесли к нему на носилках белого человека. Они сказали, что этот человек упал без чувств прямо у входа во дворец. У незнакомца было двустороннее воспаление легких. Конечно, это был Джон Форчун, и его одежда показалась и англичанину и непальцам такой странной, что его спросили, как она называется. "Да это же простой честный рабочий комбинезон доброго старого штата Огайо".

90

Так закрылся смотровой глазок Джона Форчуна, и похоронили его там же, в Катманду; но перед смертью он успел нацарапать записку, и доктор Брокеншайр обещал доставить эту записку рано или поздно в газету "Горнист-обозреватель" в Мидлэнд-Сити. Но доктор не торопился бежать к ближайшему почтовому ящику. Вместо этого он отправился скитаться сначала по Тибету, потом по Северной Бирме, оттуда попал в Китай, где его взяли в плен японцы. Они решили, что он шпион. А он даже не знал, что идет какая-то война.

Потом он об этом написал книгу. Я ее читал. Ее нелегко достать, но стоит постараться. Книжка очень интересная.

Но главное то, что он смог переслать в Мидлэнд-Сити последние слова Джона Форчуна вместе с картой Катманду, на которой отмечена его могила, только через шесть лет после смерти Форчуна. В записке говорилось следующее:

«Моим друзьям и врагам под каштанами Огайо: "Валите сюда! В Шангри-Ла хватит места всем"».

18

Пьеса "Катманду" — мой вклад в западную культуру — шла три раза; спектакли были платные — один в Нью-Йорке, в "Театр де Лис", в 1960 году, в том месяце, когда скончался мой отец, а через три года дважды на сцене Фэйрчайлд-ской средней школы в Мидлэнд-Сити. Кстати, главную женскую роль в мидлэндской постановке играла Селия Гилд-рет-Гувер, которой мой отец давным-давно пытался вручить яблоко.

В первом акте пьесы — действие происходило в Мидлэнд-Сити — Селия, которая потом наглоталась порошка "Драно", играла роль духа жены Джона Форчуна. Во втором акте она была загадочной восточной красавицей, которую он повстречал в Тадж-Махале. По пьесе она предлагает показать ему путь в Шангри-Ла и ведет его через горы и джунгли по тропе в Катманду. А потом, когда Форчун произносит свои предсмертные слова, обращенные к землякам в Мидлэнд-Сити, и умирает, она ничего не говорит, и тут оказывается, что это и есть дух его покойной жены.

Роль нелегкая, а Селия никогда раньше на сцене не выступала. Она и была только женой торговца автомобилями марки "пontiак", но, моему, она играла ничуть не хуже профессиональной актрисы, выступавшей в этой роли в Нью-Йорке, а может, и лучше. Во всяком случае, Селия была гораздо красивее. Это потом она от амфетамина стала совсем старухой, покрылась морщинами, исхудала так, что у неё зубы торчали и щеки ввалились.

91

А фамилию актрисы, игравшей эту роль в Нью-Йорке, я уже забыл. Кажется, она бросила сцену после "Катманду".

■ Кстати, об амфетаминах: старый приятель отца Гитлер, должно быть, один из первых начал им пользоваться. Недавно я читал, что у Гитлера сохранился до конца этакий блеск в глазах и петушиная поступь, потому что его личный врач все увеличивал и увеличивал ему дозы витаминов и амфетамина.

■ Сразу после окончания университета я поступил ночным продавцом в аптеку Шрамма, на шесть ночей в неделю с полуночи до рассвета. Я все еще жил с родителями, но уже мог вносить в наше общее хозяйство весьма ощутимую сумму. Работа у меня была опасная: все лавки и магазины закрывались, только аптека Шрамма была открыта всю ночь, а это притягивало всяких бандитов и психов, как маяк во тьме. Моего предшественника, старого Малькольма Хайатта, который учился в школе еще с моим отцом, убил какой-то приبلудный бродяга. Этот бродяга свернул с шоссе у шепердстаун-ского шлагбаума, выстрелом из обрез закрыв смотровой глазок старика Хайатта и снова вырвался на магистраль.

Но его поймали на границе штата Индиана и судили, признали виновным и приговорили к смертной казни в Шеперд-стауне. Его смотровой глазок закрыли на электрическом стуле. За микросекунду он увидел и услышал много чего. А еще через микросекунду он снова стал всего лишь комочком аморфного небытия.

И поделом ему.

■ Аптекой, кстати, теперь владел некто Хортон, житель Цинциннати. Из прежних владельцев, Шраммов, в городе уже никого не осталось. А раньше их можно было считать дюжинами.

И нас, Вальцев, раньше в городе было множество. Но когда я начал работать в аптеке, оставалось всего четверо: мама, отец, я и еще первая жена моего брата, Донна. Она была из пары близняшек, похожих друг на друга как две капли воды. Они с Феликсом развелись, но она по-прежнему называла себя Донна Вальц. Так что она была не настоящая Вальц, не по крови, а только по фамилии.

И вообще, она никогда не носила бы фамилию Вальц, если

92

бы не несчастье, которое с ней случилось в тот день, когда Феликс вернулся с военной службы. Он с ней только что познакомился, потому что ее семья переехала в Мидлэнд-Сити из Кокомо, штат Индиана, когда он еще был в армии. И он даже не отличал Донну от ее сестры-близняшки Дины.

Они поехали прокатиться в машине ее отца. Слава богу, что хоть машина была не наша. У нас никакой машины уже не было. И вообще, у нас не было ни черта, и отец все еще отбывал заключение. Но Феликс сам вел машину. Он сидел за рулем, и тормоза заело. Машина была довоенного образца, старый "гудзон". Послевоенных машин еще не было.

Донна врезалась головой в ветровое стекло, и с тех пор ее никто не путает с сестрой. Но Феликс на ней женился, как только она выписалась из больницы. Ей было всего восемнадцать лет, но у нее все зубы были вставные — и верхние и нижние.

Теперь Феликс шутит, что его свадьба была "скоропалительной". Родичи и друзья Донны считали, что Феликс обязан на ней жениться, любит он ее или не любит, да и сам Феликс был того же мнения. Обычно "скоропалительными" называют такие браки, когда нужно "покрыть грех". Согрешил с девушкой — значит надо поскорее покрыть грех, жениться на ней. Но Феликс не согрешил со своей первой женой до свадьбы, а просто нечаянно разбил ей всю физиономию.

— Уж лучше бы она от меня забеременела, — сказал он мне недавно. — Все равно пришлось на ней жениться из-за того, что я ей физиономию расквасил.

■ Еще задолго до того, как я удрал в Нью-Йорк, на премьеру моей пьесы, какой-то пьянчужка ввалился в аптеку Шрамма в два часа ночи и, скосив глаза на висевшую над прилавком табличку, прочитал мою фамилию: Рудольф Вальц, дипл. фарм.

Наверное, он знал что-то о нашем почтенном семействе, хотя, по-моему, я с ним никогда не встречался. Но он был до того пьян, что сразу спросил меня напрямик:

— Ты тот Вальц, что пристрелил женщину, или тот, что всадил девушку головой в ветровое стекло?

Помню, что он требовал молочный коктейль с шоколадным сиропом. А у нас в аптеке уже пять лет никакими напитками не торговали и миксера для приготовления коктейлей не было. Но он все канючил:

— Тогда дай мне немножко молока, мороженого и шоколадного сиропа, я сам себе собью коктейль. — Потом свалился как сноп.

93

■ Он не назвал меня Малый Не Промах. И вообще мне почти никогда и никто не бросал в лицо это прозвище. Но я часто слышал его за спиной, в толпе — в магазинах, в кино, в кафе. Иногда кто-то орал эти слова, проносясь мимо в машине. Впрочем, это были чаще всего либо пьяные, либо подростки. Ни один взрослый, уважаемый человек не позволил себе назвать меня этой кличкой.

Но с ночными дежурствами в аптеке Шрамма было сопряжено одно неприятное и непредвиденное обстоятельство: там был телефон. И почти каждую ночь какой-нибудь расхрабившийся юный остряк звонил мне и спрашивал, не я ли тот самый Малый Не Промах.

Да, это я. Был и останусь. Навсегда.

■ На этой работе можно было вволю почитать, на полках лежали груды журналов. Да и дела, которыми мне приходилось заниматься по ночам, были несложными и никакого отношения к приготовлению лекарств не имели. Главным образом я продавал сигареты, и, как ни странно, наручные часы, и самые дорогие духи. Ясно, что и часы и духи покупали кому-то в подарок, ко дням рождения или юбилеям, о которых вспоминали слишком поздно, когда все другие магазины были уже закрыты.

И однажды ночью, читая журнал "Райтерс дайджест", я увидел объявление о том, что Фонд Колдуэлла объявляет конкурс на лучшую пьесу. Не теряя времени, я тут же принялся стучать на машинке — это была старенькая, разбитая "Корона", на которой мы печатали этикетки. Я строчил новый вариант пьесы "Катманду".

И я получил первую премию.

■ Жаркое в маринаде по рецепту Рудольфа Вальца, дипл. фарм. Смешать в кастрюльке чашку виноградного уксуса, полчашки белого вина, полчашки яблочного уксуса, две мелко нарезанные луковицы, две мелко нарезанные морковки, щепотку рубленого сельдерея, два лавровых листка, шесть зерен ямайского перца, две головки чеснока, две столовые ложки черного перца, столовую ложку соли. Довести до кипения.

Залить горячим маринадом кусок вырезки, фунта на четыре, в глубокой миске. Перевернуть мясо в маринаде несколько раз. Закрывать миску и поставить в холодильник на

94

три дня. Переворачивать мясо в маринаде несколько раз в день.

Вынуть мясо из маринада, обсушить. Облить на глубоком противне восемью столовыми ложками топленого жира. Жарить в духовке, пока не подрумянится. Слить жир. Положить мясо обратно на противень, разогреть маринад и залить мясо. Томить в духовке часа три. Слить сок, удалить лишний жир. Держать жаркое на противне горячим.

Растопить в кастрюльке три столовые ложки масла, добавить три столовые ложки муки и столовую ложку сахара. Постепенно добавлять маринад, размешивая, пока не получится однородный соус. Прибавить чашку толченого имбиря и, не доводя до кипения, поддержать на медленном огне минут шесть.

Пальчики оближете!

■

Три дня я не говорил ни отцу, ни матери, что я победил на конкурсе. Как раз три дня мясо вылеживается в маринаде. Когда я подал жаркое, для них это был сюрприз, потому что ни мама, ни папа никогда на кухню не заходили. Они сидели за столом, как послушные детишки, ждали, что им подадут.

И когда они наконец наелись досыта и все благодарили меня и расхваливали жаркое, я обратился к ним с такой речью:

— Мне уже двадцать семь лет, двенадцать лет я для вас все готовил, и мне это было очень приятно. Но теперь я получил премию за свою пьесу, и через три месяца в Нью-Йорке будет премьера. И мне, конечно, надо быть там за полтора месяца до спектакля, чтобы присутствовать на всех репетициях. Феликс сказал, что я могу пожить у них с Женевьевой, — продолжал я, — спать можно в гостиной на диване. Они живут всего в трех кварталах от театра. — Кстати, свою жену Женевьеву Феликс теперь называет Подмалевкой. Она была почти безбровая, губки тоненькие, так что, когда ей хотелось, чтобы на нее обратили внимание, она рисовала себе брови, губы, подводила глаза и так далее.

Я сказал родителям, что договорился с Синтией Гублер, невесткой нашей прежней поварихи Мэри Гублер, чтобы она ходила к ним и обслуживала их, а я ей сам буду платить — денег я накопил достаточно.

Я не ожидал возражений — ведь с обслугой все было налажено, — и они не возражали. Вроде того, как бывает в пьесах и романах с хорошим концом: все ошибки забыты, все довольны, никаких нерешенных проблем не осталось.

Первой отозвалась моя мама.

95

— Прекрасно, — сказала она. — Счастливого пути!

— Да, — сказал отец. — Счастливого пути!

Разве я мог знать, что отцу жить оставалось всего несколько месяцев.

19

Время летит. Не успел я опомниться — и вот я уже на Кристофер-стрит, в Гринич-Вилледж. Полдень. Я смотрю на полотнище над театральным подъездом, и снежинки нежно целуют меня в лоб и щеки. Четырнадцатое февраля 1960 года. И отец, насколько мне известно, жив-здоров. На полотнище крупными буквами написано:

КАТМАНДУ

НОВАЯ ДРАМА РУДИ ВАЛЬЦА

Репетиции кончились. В этот вечер должна была состояться премьера. У отца в Вене когда-то была студия с запыленным окошком в потолке и обнаженной натурщицей; там ему стало ясно, что никакой он не художник. А теперь мое имя красовалось над подъездом нью-йоркского театра, где мне стало ясно, что я никакой не драматург. Пьеса была обречена на провал. С каждой репетицией несчастные актеры все больше чувствовали, какая это ерунда, какая тоска зеленая.

И актеры, и режиссер, и представители Фонда Колдуэлла, который после этого наотрез отказался субсидировать какие бы то ни было конкурсы, — все перестали со мной разговаривать. В театр меня больше не пускали. И нельзя сказать, что я требовал чего-то невозможного. Виноват я был в том, что ни черта не понимал в собственной пьесе, знал ее хуже всех. Со мной и разговаривать не стоило.

И если кто-нибудь все-таки меня спрашивал, что значит та или иная реплика, мне казалось, что я сам слышу эти слова впервые в жизни. И я растерянно бормотал что-то невнятное: "Господи, да я уж и не помню, что бы это такое значило..."

И мне было совершенно безразлично, что я этим хотел сказать.

А дело было вот в чем: я был потрясен тем, что я уже больше не Малый Не Промах. Вдруг оказалось, что никто не знает, что я не такой, как все, — что я убил наповал беременную женщину. Я чувствовал себя как газ, который много лет держали в закупоренной бутылке с

ярлычком, а потом вдруг взяли и выпустили.

96

Я перестал стряпать. Стряпал тот Малый Не Промах, который старался хоть чем-то ублажить, побаловать тех, кому он так страшно навредил.

И на пьесу мне было теперь наплевать. Это тот Малый Не Промах, которого мучили угрызения совести там, в Мид-лэнд-Сити, видел в смерти старого Джона Форчуна, бессмысленно погибшего в Катманду, далеко-далеко от своей родины, какое-то величие. Он и сам мечтал забраться куда-нибудь подальше и околеть.

И потому, когда я глядел на свое имя на полотнище над театральным подъездом в Гринич-Вилледж, это был уже не я. И вообще никто. Казалось, что у меня в голове вместо мозгов выдохшееся имбирное пиво.

И когда актеры еще о чем-то меня спрашивали, начинался такой разговор, как с бедным Шелдоном Вудкоком — актером, игравшим Джона Форчуна:

—Помогите мне, пожалуйста, хоть за что-то уцепиться в этом образе.

—Да вы прекрасно играете, — говорю я.

— Как это я могу прекрасно играть, когда он у вас такой косноязычный, — говорит он.

—Он же простой фермер, — говорю я.

— В том-то и дело, — говорит он. — Слишком уж простой, простачок. Мне все время кажется, что я играю идиота, а ведь он у вас задуман не таким уж идиотом, верно?

—Зачем же — идиотом? — говорю я.

— Он ни разу не объяснил, чего это его так тянет в Катманду, — говорит актер. — Остальные то стараются помочь ему попасть в Катманду, то мешают ему добраться до Катманду, а я все думаю: "Да какое им всем дело, попадет он в этот чертов Катманду или нет? А почему не на Огненную Землю? Почему не в Дубьюк? Он такой болван — не все ли ему равно, куда его занесет?"

— Но он-то ведь ищет Шангри-Ла, — говорю я. — Он не раз говорит, что хочет найти Шангри-Ла.

—Тридцать четыре раза, — говорит он.

—Простите?

— Он у вас тридцать четыре раза повторяет: "Я ищу Шангри-Ла".

—Вы считали? — спрашиваю.

— Да, не поленился, — говорит он. — Многовато для двухчасового спектакля, тем более что этот персонаж практически ничего другого и не говорит.

—Можете несколько реплик пропустить, если хотите, — говорю я.

—Какие именно? — спрашивает он.

—Да те, которые вам кажутся лишними,—отвечаю я.

97

—А вместо этого что говорить? — спрашивает он.

—А что бы вам хотелось сказать? — поинтересовался я.

Тут он еле слышно выругался, но взял себя в руки. Вскоре меня перестали пускать в театр.

—Может быть, вы об этом не задумывались, — с горестной кротостью сказал он, — но ведь актеры не сами сочиняют то, что они говорят на сцене. Кажется, что актер говорит свои слова — если он как актер чего-то стоит, — но на самом деле все это, до последнего словечка, пишет заранее такой человек, автор, понимаете? — драматург.

—Ну, тогда говорите то, что я написал, и больше ничего, — сказал я. Но в этих словах таился совсем иной смысл: впервые в жизни я вырвался из дому, и у меня кружилась голова, и плевать мне было на все, что со мной будет. Пусть пьеса провалится ко всем чертям, меня в Нью-Йорке все равно никто в лицо не знает. Тут меня не арестуют. Тут меня не выставят на позор в клетке, вымазанного чернилами.

Обратно домой я, во всяком случае, не собирался. Устроюсь где-нибудь в Нью-Йорке фармацевтом. Фармацевты всюду нужны. Буду, как мой брат Феликс, посылать домой деньги. А потом, постепенно, попробую жить своим домом, своей жизнью; может, поищу подходящую спутницу, посмотрю, что из этого выйдет.

—Растолкуйте мне, как провести мою главную сцену, когда я умираю на руках у доктора Брокеншайра в Катманду под музыку индийского ситара, — попросил Вудкок.

—Ладно, — сказал я.

—Я думаю, что я — в Шангри-Ла, — сказал он.

—Верно, — сказал я.

—И я знаю, что я сейчас умру, — говорит он. — Я не думаю, что просто болен и скоро пойду на поправку.
—Доктор вам ясно сказал, что вы при смерти, — объясняю я.
—Тогда как же я могу думать, что я в Шангри-Ла? — спрашивает он.
— Простите? — спрашиваю я.
—Да я же сам все время твержу, что в Шангри-Ла никто не умирает. А если я умираю, как же я могу при этом находиться в Шангри-Ла?
— Надо будет об этом подумать, — говорю я.
—Вы что, собираетесь в первый раз об этом подумать? — восклицает он. И так далее и тому подобное. — Семнадцать раз, — говорит он.
— Простите? — откликаюсь я.
—Да я же семнадцать раз говорю: "В Шангри-Ла никто не умирает".

98

До премьеры оставались считанные часы, а я побрел из театра в двухэтажную квартиру моего брата — до нее было три квартала. Снежок шел редкий, снежинки сразу таяли. С тех пор как я приехал в Нью-Йорк, я и газет не читал, и радио не слушал, и даже не знал, что на юго-западе штата Огайо вновь наступило Великое оледенение — там разыгралась такая снежная буря, какой и старожилы не упомнят.

И когда в театре поднялся занавес и начался первый акт "Катманду", буря ворвалась в заднюю дверь старого каретного сарая в моем родном городе и распахнула изнутри огромные ворота — точно так же, как распахнул их когда-то, давным-давно, мой отец перед Селией Гилдрет.

Люди судачат о том, что в Гринич-Вилледж, куда ни пойдешь, обязательно наткнешься на педераста, а мне в этот день бросались в глаза одни только бесполое существа, нейтро. Это были такие же одиночки, как я, они тоже привыкли ждать любви невесть откуда и были точно так же, как я, уверены, что все милое, желанное непременно заминировано, насторожено, как западня.

И у меня родилась ужасно смешная мысль. Когда-нибудь мы все, бесполое, нейтро, повыползем из своих норок и устроим демонстрацию. Я даже придумал, что именно будет написано на нашем знамени, которое развернется во всю ширину Пятой авеню. Огромными буквами, в четыре фута вышиной, там будет начертано одно слово:

EGREGIOUS

Многие думают, что это слово значит "ужасный", или "непростительный", или "из ряда вон выходящий", но на самом деле это слово гораздо интереснее. Оно означает, что кто-то "отбилсЯ от стада".

Только представьте себе: тысячная толпа людей, и каждый из них "отбилсЯ от стада", каждый из них — отщепенец.

■ Я открыл своим ключом двухэтажную квартиру Феликса. Она немножко напоминала наш родной дом, потому что спальня хозяев была наверху и там была большая галерея, а внизу, под ней, — столовая, она же гостиная. Мы с Феликсом уже расставили мебель поудобнее — после спектакля мы ждали гостей. Угощение мы заказали в ресторане. Как я уже сказал, сам я не желал ничего готовить.

Но вряд ли кому-нибудь в здравом уме вздумалось бы явиться к нам в гости.

Я не имел никакого отношения к гостям, так же как не

99

имел отношения к своей глупой пьесе. Я снова стал мальчишкой, каким был до того, как застрелил миссис Метцгер. Мне только что сравнялось двенадцать лет.

Я-то думал, что побуду один в этой квартире, я решил, что Феликс и его жена Женевьева — Подмалевка — задержались на радиостанции. Она по-прежнему вела там прием посетителей, а Феликс разбирал свой письменный стол, собираясь перейти на более престижную работу в фирму к "Баттен, Бартон, Дарстайн и Осборн".

Они в свою очередь, естественно, предполагали, что я — в театре, вношу последние поправки в текст пьесы перед самым спектаклем. Я им не сказал, что мне запретили туда приходить.

Я вышел на галерею, сел на жесткий стул с прямой спинкой. Так я частенько сидел в каретном сарае, когда мне было двенадцать лет и я еще был в буквальном смысле слова невинным существом — хорошо было сидеть совсем тихо на галерее, ловить все звуки, всплывавшие ко мне снизу. Я не хотел подслушивать. Я вслушивался в музыку слов.

Так вот и вышло, что я случайно подслушал, как окончательно рушится брак моего братца, услышал весьма нелестные характеристики и Феликса, и свою, и наших родителей, и Женевьевы, и всяких незнакомых мне людей. Женевьева первой ворвалась в квартиру, шипя от злобы, как бешеная кошка, а за ней через полминуты влетел Феликс. Она приехала на такси, а Феликс гнался за ней на своей машине. И внизу подо мной, но невидимо для меня, разыгрался дикий нестройный дуэт для скрипки и контрабаса. У них обоих были такие красивые голоса. Она была скрипкой, а он — контрабасом.

А может, это была музыкальная комедия. Может быть, выходило очень смешно, когда две красивые богатые человекообразные обезьяны

в современной городской квартире с такой ненавистью бросаются друг на друга.

ДВУХЭТАЖНАЯ КВАРТИРА НОВАЯ КОМЕДИЯ РУДИ ВАЛЬЦА

Двухэтажная квартира в Гринич-Вилледж. Дорогая, очень современная белая мебель. Много свежих цветов, свежие фрукты. Великолепная электронная система. Женева в Вальц, красивая молодая женщина, которой приходится рисовать свое лицо до последней черточки, как будто она — фарфоровая кукла, влетает через парадную дверь в совершенном бешенстве. За ней вбегает Феликс, ее муж, преуспевающий молодой человек в лондонском костюме. Он тоже взбешен до предела. На галерее сидит Руди Вальц, младший брат

100

Феликса, фармацевт из Огайо. Он высокий, красивый малый, но до того беспол, до того застенчив, что похож не на живого человека, а на консервированного тунца. Странно и невероятно, но он — автор пьесы, премьера которой состоится через несколько часов. Он сознает, что пьеса никудышная. Он считает себя ошибкой природы. И жизнь считает ошибкой природы — может, и жить-то не стоит. Но он пытается еще на что-то надеяться, дать жизни еще один шанс. Его гнетет страшная тайна. Они с братом скрыли от Женева, что он — убийца. Все трое окончили обычную среднюю школу на Среднем Западе, но Женева теперь говорит почти как англичанка, а Феликс — как государственный секретарь, окончивший Гарвардский университет. Только у Руди еще сохранилось провинциальное произношение.

Женева. Отстань от меня. Ступай на работу.

Феликс. Я помогу тебе уложить вещи.

Женева. Сама справлюсь.

Феликс. А ты можешь сама дать себе пинка в зад, когда будешь выходить отсюда?

Женева. Ты спятил. И вся семья у тебя ненормальная. Слава богу, что у нас нет детей.

Феликс. Жил-был мальчишка в Данди, Любил обезьяну дня три, Родился урод, Все наоборот: Зад огромный, А сам криворот.

Женева. А я и не подозревала, что твой папаша из Данди. *(Открывает шкаф.)* Погляди, какие тут красивые чемоданы!

Феликс. А ты их набей своим барахлишком. Чтоб тут от тебя и духу не осталось!

Женева. Кажется, портьеры пропахли моими духами. Придется тебе их сжечь.

Феликс. Складывай вещишки, детка. И поскорей!

Женева. Но это и мой дом, не только твой! Конечно, чисто теоретически.

Феликс. Я тебе заплачу, я от тебя откуплюсь.

Женева. А я оставлю твоему братцу все свои тряпки. Я и брать ничего не буду. Уйду как есть, все начну заново.

Феликс. Что это значит?

Женева. Неужели не понимаешь? Это значит — пойду к Саксу или Блумингдейлу голышом и возьму с собой только кредитную карточку.

Феликс. Нет, про моего брата и твои тряпки.

Женева. Мне кажется, ему бы понравилось быть женщиной. Наверное, он должен был родиться девочкой. И тебе было бы лучше, ты мог бы на нем жениться. Я желаю те-

101

бе счастья, хотя тебе, может, и трудно в это поверить.

Феликс. Все кончено.

Женева. Мы сто раз это говорили.

Феликс. Нет, теперь все кончено навсегда.

Женева. Да, уж теперь всему конец — и точка. Убирайся отсюда, дай мне спокойно сложить вещи.

Феликс. Что, я не имею права приютить родного брата?

Женева. Я тебе тоже была родная жена. Разве ты не помнишь, как нас регистрировали в ратуше? Ты, наверное, решил, что это опера и тебе надо пропеть "Да-да!". А если у вас такая дружная семья, почему никто из твоей родни на свадьбу не явился?

Феликс. Тебе же так не терпелось выскочить замуж.

Женева. Мне не терпелось? Возможно. Мне хотелось выйти замуж. Я ждала этого счастья. И мы ведь были счастливы, правда?

Феликс. Да, как будто.

Женевьева. Пока не появился твой братец.
 Феликс. Он не виноват.
 Женевьева. Ты виноват.
 Феликс. Я? Чем же?
 Женевьева. Раз уж все-все кончено, я тебе сейчас объясню. Но потом не обижайся.
 Феликс. Говори, чем же я виноват?
 Женевьева. Ты так его стыдишься. Ты, наверное, и своих родителей стыдишься. Почему ты меня с ними до сих пор не познакомил?
 Феликс. Они вечно болеют, из дому не выходят.
 Женевьева. Да, конечно, при ста тысячах долларов в год нам было не по карману съездить к ним. Может, они уже померли?
 Феликс. Нет.
 Женевьева. Или сидят в психушке?
 Феликс. Нет.
 Женевьева. Люблю навещать людей в психушке. Моя мать сидела в психушке, когда я еще училась в школе, и я к ней ходила. Она была чудесная, и я тоже была прелесть. Я же тебе рассказывала, что моя мать одно время была в психиатрической больнице?
 Феликс. Да.
 Женевьева. Я считала, что тебе надо знать, если мы захотим завести ребенка. Тут стыдиться нечего. А может быть, это стыдно?
 Феликс. Ничего стыдного тут нет.
 Женевьева. Вот и расскажи мне всю-всю подноготную про твоих родителей, все, даже самое скверное.
 Феликс. Нечего мне рассказывать.

102

Женевьева. А хочешь, я тебе скажу, что в них плохого? Ты ими недоволен. Тебе хочется чего-то другого, пошicarней. Ах, какой ты сноб!
 Феликс. Тут все гораздо сложнее.
 Женевьева. Сомневаюсь. Что в тебе такого особенно сложного? Что-то не припомню. Ты любой ценой хочешь производить хорошее впечатление — вот и все, что в тебе есть.
 Феликс. Нет, во мне все-таки есть кое-что посерьезнее.
 Женевьева. Нет. Ничего, кроме дешевого лоска, в тебе не было, пока твой братец не приехал. А он оказался балаганным шутом.
 Феликс. Не смей его так называть.
 Женевьева. Я тебе только сказала, что Ты о нем думаешь. А какие были обязанности у меня, у твоей жены? Защищать твоё самолюбие? Делать вид, что твой брат — такой же, как все? По крайней мере я никогда его не стыдила. Это ты сгорал от стыда.
 Феликс. Я?
 Женевьева. Тебя узнать нельзя было, как только он появлялся. Ты же умирал со стыда. Думаешь, он не заметил? Думаешь, он не заметил, что у нас всегда все готово к приему гостей, только мы почему-то никогда никого не зовем?
 Феликс. Я его оберегал.
 Женевьева. Его? Ты себя оберегал! А из-за чего мы поругались — ведь не из-за того же, что я ему сказала. Уж он-то на меня не может пожаловаться. Нет, ты разозлился из-за того, что я тебе сказала.
 Феликс. Да, при людях — так, что сто человек слышали.
 Женевьева. Кроме нас в приемной было ровно пять человек. И никто ничего не слышал — я тебе сказала шепотом. Но ты так на меня заорал, что даже в Чикаго было слышно. А я сегодня утром была такая счастливая — я вдруг по-настоящему поняла, что я замужем, но только это продолжалось всего несколько секунд, потому что тут-то ты на меня и заорал. А мне казалось, что я так чудесно выгляжу, и все мною любят, и ты так меня любишь... Если помнишь, мы сегодня с утра пораньше целовались и так далее. Сожги заодно и простыню вместе с портьерами. А в приемной было пятеро посетителей, и они, наверное, думали: "Вот счастливица! Какая же у нее жизнь, какой любовник, если она с самого утра так и светится!" И тут в приемную входит молодой человек, одет с иголочки, такой светский, такой мужественный! Так вот, он любовник! Наклонился, поцеловал, а она что-то шепчет ему на ухо. Видать, эта парочка со Среднего Запада шикарно устроилась в Старом Готаме¹!

¹Так называют Нью-Йорк.

103

Феликс. А зачем ты мне на ухо сказала гадость?

Ж е н е в ь е в а . И повторю: "Скажи своему братцу, чтобы он принял ванну!"

Ф е л и к с . Нашла время говорить такое!

Ж е н е в ь е в а . У него сегодня премьера, а он воняет, как поросенок. Ни разу не мылся с тех пор, как приехал.

Ф е л и к с . По-твоему, это очень романтично?

Ж е н е в ь е в а . По-моему, это семейная жизнь. Обратная сторона семейной жизни. Ну, с меня хватит. *(Вытаскивает чемодан из шкафа, открывает, швыряет раскрытый чемодан на кушетку.)* Смотри, чемодан уже разинул пасть — есть просит.

Ф е л и к с . Прости меня, пожалуйста, за то, что я сказал.

Ж е н е в ь е в а . Сказал? Ты на меня орал! Ты орал: "Заткнись, так тебя растак!" Ты орал: "Если тебе не нравятся мои родные, убирайся к чертям!"

Ф е л и к с . Но я сразу же спохватился.

Ж е н е в ь е в а . Еще бы! Заткнулся как миленький. А я ушла из приемной — навсегда. Все, друг сердечный. Зачем только ты за мной потащился, чучело деревенское!

В шкафу груды спортивной одежды, лыжные штормовки, непромокаемые комбинезоны, меховые куртки и так далее. Женева рвется в шкаф, вытаскивает то, что ей надо, бросает на диван рядом с открытым чемоданом. Феликс совсем сник. Его мужская самоуверенность исчезает на глазах. Характер у него слабоват, он из тех позеров, которые не выносят, когда на них не обращают внимания. И чтобы Женева обратила на него внимание, он пытается разжалобить ее своей откровенностью.

Ф е л и к с *(громко, униженно)*. Ты права, ты права! Права!

Ж е н е в ь е в а *(не слушая)*. И нырять ты меня так и не научил!

Ф е л и к с . Мне стыдно за свою семью! Ты права! Я виноват!

Руди на все это никак не реагирует. Он сидит и молчит.

Ж е н е в ь е в а . Обещал научить нырять с аквалангом... Ф е л и к с . Отец в тюрьме сидел, если хочешь знать! Ж е н е в ь е в а *(удивленно, с любопытством)*. Да что ты говоришь!

Ф е л и к с . То, что ты слышишь. Ж е н е в ь е в а . А за что?

Пауза.

104

Ф е л и к с . За убийство.

Ж е н е в ь е в а *(волнуясь)*. Господи, какой ужас! Ф е л и к с . Теперь ты все знаешь. На радио бы такую новость с руками оторвали.

Ж е н е в ь е в а . Черт с ним, с радио. О, как твоему брату досталось! И тебе, наверное, тоже плохо пришлось.

Ф е л и к с . Нет, я в порядке.

Ж е н е в ь е в а . С чего бы это, интересно? А твой брат, бедняжка -теперь понятно, почему он такой. А я-то думала, что он дефективный. Знаешь, иногда при родах младенцев душит пуповина или еще что. Я думала, что он слабоумный гений!

Ф е л и к с . Это еще что такое?

Ж е н е в ь е в а . Так бывает: дурак дураком, а что-нибудь одно делает блестяще — например, играет на рояле.

Ф е л и к с . Нет, он на рояле не играет.

Ж е н е в ь е в а . Ну, зато пьесу написал, ее даже в театре поставили. Может, он мыться не любит. Может, у него друзей нет. Может быть, он вообще боится людей - ни с кем не разговаривает. Но пьесу-то он написал. И запас слов у него огромный. Мы с тобой вместе меньше знаем слов, чем он один, а иногда он такое скажет — и умно и остроумно.

Ф е л и к с . Он дипломированный фармацевт.

Ж е н е в ь е в а . Потому-то я и подумала, что он слабоумный гений. Такое сочетание тоже ненормально: он и драматург, он же и фармацевт. Но ведь он же и сын убийцы. Неудивительно, что он стал таким. Хочет, чтоб его никто не замечал, будто он невидимка. В воскресенье я видела, как он шел по Кристофер-стрит, такой высокий, красивый, вылитый Гэри Купер, но больше никто его не замечал. Зашел в кафе, сел за столик, а его даже не обслуживают — потому что его там и нет. Ничего удивительного.

Ф е л и к с . Только не спрашивай его про убийство.

Пауза.

Ж е н е в ь е в а . Можешь быть спокоен. А что, твой отец и сейчас в тюрьме?

Ф е л и к с . Нет, но мог бы там быть. А мог бы уже умереть.

Ж е н е в ь е в а . -Теперь все прошло — как только я поняла.

Ф е л и к с . Жен, пожалуйста, не уходи. Не хочу я быть одним из этих типов, которые только и делают, что женятся и разводятся, опять

женятся и опять разводятся. Они, наверное, какие-то больные.

Ж е н е в ь е в а . А мне даже нельзя вернуться на радио — после этого скандала. Так неудобно вышло!

105

Ф е л и к с . Аяне хочу, чтобы ты работала.

Ж е н е в ь е в а . Но я люблю работать. Люблю, чтобы у меня были свои деньги. А что мне делать — сидеть дома целыми днями?

Ф е л и к с . Заведи ребеночка.

Ж е н е в ь е в а . Да что ты? Господи боже!

Ф е л и к с . А почему бы и нет?

Ж е н е в ь е в а . Ты и вправду считаешь, что я была бы хорошей матерью?

Ф е л и к с . Самой лучшей!

Ж е н е в ь е в а . А кого бы ты хотел? Мальчика или девочку?

Ф е л и к с . Все равно. Я и мальчика и девочку буду любить одинаково.

Ж е н е в ь е в а . О господи! Я сейчас разревусь.

Ф е л и к с . Только не бросай меня. Я так тебя люблю!

Ж е н е в ь е в а . Не брошу.

Ф е л и к с . Веришь, что я люблю тебя?

Ж е н е в ь е в а . Придется поверить.

Ф е л и к с . Иду на работу. Уберу все в ящиках. Извинюсь перед всеми за эту дурацкую сцену. Я один во всем виноват. Брат у меня вонючий грязнуля. Ему надо принять ванну, спасибо, что ты об этом сказала. Обещай, что будешь тут, когда я вернусь.

Ж е н е в ь е в а . Обещаю.

Феликс уходит. Женева убирает вещи в шкаф.

Р у д и *(кашляет)*. Кхе-кхе...

Ж е н е в ь е в а *(испуганно)*. Кто там?

Р у д и *(встает во весь рост)*. Это я.

Ж е н е в ь е в а . Господи!

Р у д и . Я не хотел вас пугать.

Ж е н е в ь е в а . Вы все слышали...

Р у д и . Не хотел вмешиваться.

Ж е н е в ь е в а . Да мы сами не верим в то, что мы тут наболтали.

Р у д и . Ничего. Я все равно хотел принять ванну.

Ж е н е в ь е в а . Не обязательно.

Р у д и . Дома у нас зимой так холодно. Отвыкаешь принимать ванну. Мы даже не обращаем внимания, притерпелись, что от нас пахнет.

Ж е н е в ь е в а . Мне так неприятно, что вы все слышали.

Р у д и . Да нет, не волнуйтесь. Я бесчувственный, как резиновый мячик. Вы сказали, что меня никто не замечает, что меня даже не обслуживают...

Ж е н е в ь е в а . Вы и это слышали?

106

Р у д и . Все оттого, что я бесполой, нейтро. У меня нет пола. Меня вся эта сексуальная возня даже не интересует. Никто не знает, сколько таких бесполой людей, потому что они — невидимки. А я вам вот что скажу — их здесь миллион. Им бы устроить парад с плакатами: РАЗОК ПОПРОБОВАЛ — С МЕНЯ ХВАТИТ; ЖИЛ ОДИН ДЕСЯТЬ ЛЕТ, САМОЧУВСТВИЕ ОТЛИЧНОЕ; ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ ПОДУМАЙ О ЧЕМ-НИБУДЬ, КРОМЕ СЕКСА.

Ж е н е в ь е в а . А вы, оказывается, остроумный.

Р у д и . Слабоумный гений. В жизни ни на что не гожусь, зато подмечаю самое забавное.

Ж е н е в ь е в а . Мне жаль вашего отца.

Р у д и . Да он никого не убивал.

Ж е н е в ь е в а . Правда?

Р у д и . Он и мухи не обидит. Но отцом он был плохим. Мы с Феликсом стеснялись приглашать товарищей к нам домой, нам было за него так неловко. Ничего он не умел, ничего не делал, но воображал, что на нем вся земля держится. Его в детстве, по-моему, избаловали до

безобразия. Иногда мы его просили помочь нам делать уроки, а потом нам в школе говорили, что он все объяснял неверно. Знаете, что бывает, когда еноту дают кусок сахара?

Женевьева. Не знаю.

Руди. Еноты всегда "полощут" еду, прежде чем съесть.

Женевьева. Да, я об этом как будто слышала. У нас в Висконсине водятся еноты.

Руди. Енот возьмет сахар, окунет его в воду и начинает мыть, мыть, мыть — без конца.

Пауза.

Женевьева. Ну да! Пока весь сахар не растает.

Руди. Вот так мы с Феликсом росли. В конце концов мы обнаружили, что отца у нас фактически нет. Только мама до сих пор считает его самым великим человеком на свете.

Женевьева. Но вы же все равно любите своих родителей.

Руди. Нейтро никого не любят. Зато и ненависти ни к кому не питают.

Женевьева. Но вы же годами вели все хозяйство в доме, правда? Или нет?

Руди. Нейтро — чудесные слуги. Они не претендуют на особое внимание, а готовят почти всегда прекрасно.

Женевьева (*ей жутко*). Вы такой странный человек, Руди Вальц.

Руди. Потому что это я - убийца.

Женевьева. Что?

107

Руди. Да, у нас в семье есть убийца. Только это не отец. Это я.

Пауза. *Занавес*

■ Тогда я помешал моему брату завести ребеночка. Женевьева тут же ушла из двухэтажной квартиры — не захотела оставаться наедине с убийцей, — и больше они с Феликсом не виделись. Теперь тому ребенку было бы двадцать два года. А ребенку, которого носила Элоиза Метцгер, когда я ее застрелил, было бы уже тридцать восемь! Только подумать...

А кто знает, что натворили бы сейчас эти взрослые люди вместо того, чтобы плавать где-то в пустоте в виде комочков аморфного небытия? У них сейчас хватило бы дел.

■ До сих пор я не рассказал Феликсу, что подслушал с галереи его разговор с Женевьевой и спугнул ее из роскошной квартиры — так что она уже не вернулась. Разбил семью. В то время со мной что-то случилось, как и тогда, когда я нечаянно застрелил миссис Метцгер.

Вот и все, что я могу сказать.

■ Мне очень захотелось сказать своей невестке, что перед ней не кто-нибудь, а настоящий убийца, что со мной надо считаться. Я тоже возжаждал славы.

20

Наутро после того, как моя пьеса "Катманду" прошла один-единственный раз и тут же была снята, мы с Феликсом летели над местностью, белой и пустынной, как наша жизнь. Феликс расстался со своей третьей женой. Я стал мишенью для шуток всего Нью-Йорка. Мы летели в шестиместном частном самолете над юго-западной окраиной штата Огайо, безжизненной, как полярная шапка на Северном полюсе. Где-то под нами лежал Мидлэнд-Сити. Электричество не работало. Телефоны молчали.

Неужели там еще кто-то остался в живых?

108

Небо было ясное, стояла полная тишь. Буран, наделавший столько бед, уже свирепствовал где-то за Лабрадором.

■ Мы с Феликсом летели на самолете, принадлежавшем компании "Бэрритрон лимитед", производившей сложные боевые системы. Там

работало самое большое количество рабочих в Мидлэнд-Сити. Кроме нас в самолете были Фред Т. Бэрри — основатель и единственный хозяин "Бэрритрона", его матушка Милдред и их личный пилот.

Мистер Бэрри был холостяком, мать его вдовела, и оба они были неутомимыми путешественниками. Из их разговора мы с Феликсом поняли, что они следят за культурной жизнью во всем мире — ездят вместе на все кинофестивали, на премьеры всех балетов и опер, на вернисажи и так далее, и тому подобное. И не мне было подсмеиваться над тем, что они так легкомысленно шатаются по свету, потому что именно на мою премьеру они спешно прилетели на своем самолете в Нью-Йорк. Ни меня, ни Феликса они не знали, а с моими родителями у них тоже было только шапочное знакомство. Но они сочли своим долгом приехать на премьеру первой многоактной пьесы, написанной гражданином Мидлэнд-Сити и поставленной в профессиональном театре.

Как же я мог не любить их за это?

И это еще не все: эта пара — мама с сыном — досидели до самого конца "Катманду". До самого конца досидели человек двадцать, в том числе и мы с Феликсом. Я знаю — сам пересчитал всех зрителей. И мать, и сын аплодировали, свистели и топали ногами, когда опускался занавес. Они никого не стеснялись. А миссис Бэрри здорово умела свистеть. Она родилась в Англии и в молодости выступала в мюзик-холле, подражая голосам всяких птичек, подслушанным в разных концах Британской империи.

■ Мистер Бэрри почитал свою "матушку гораздо больше, } чем я свою. Когда миссис Бэрри скончалась, он решил обессмертить ее имя — он подрядил братьев Маритимо построить Центр искусств на опорах посреди Сахарной речки и назвал этот Центр в ее честь.

А моя мама сорвала все его планы, убедительно объяснив / окружающим, что и Центр искусств, и его экспонаты - несусветное уродство.

А потом рванула нейтронная бомба. В Мидлэнд-Сити ни \ души не осталось — теперь никто не знает про Милдред Бэрри, некому всем этим интересоваться.

109

Кстати, идея поселить беженцев в нашем городе, где уцелели только пустые дома, с каждым днем становится все более популярной. Сам президент считает, что это "счастливая возможность". Наш адвокат Бернард Кетчем, который живет здесь в гостинице "Олоффсон", говорит, что беженцы из Гаити могли бы, по примеру белых американцев, заново "открыть" Флориду, Виргинию, Массачусетс, да мало ли что еще. Им надо просто высадиться на берег и начать обращать жителей в "вудуизм".

— Всем давно известно, — говорит он, — что можно прибрать к рукам любое место на земле, где люди жили уже тысячелетиями, — надо только бесконечно твердить такую мантру: "Мы их открыли, мы их открыли, мы их открыли..."

■ У Милдред, матушки Фреда Бэрри, был английский выговор, и она даже не старалась от него избавиться, хотя прожила в Мидлэнд-Сити лет двадцать пять, если не больше.

Я знаю, что черные слуги ее обожали. Она сама любила над собой посмеяться и без конца смешила слуг своими выходками.

Сейчас, летя в маленьком самолете, она подражала и соловью из Малайзии, и новозеландскому сычику, и так далее. Я понял главную ошибку моих родителей: они считали, что не должны никому ни в коем случае подавать повод для смеха.

■ Мне все время хочется сказать, что Фред Т. Бэрри был величайшим нейтро, какого я встречал. У него, разумеется, никакой так называемой "личной жизни" не было. У него даже друзей не было. Глядя на него в самолете, когда все мы были на волосок от смерти, я понял, что ему глубоко безразлично, жив он или умер. И на то, что могу погибнуть я, или Феликс, или его матушка, или перепуганный до смерти летчик, школьный товарищ моего брата, ему наплевать. И где мы сядем, если у нас забарахлит мотор, прежде чем мы долетим до Цинциннати — ближайшего открытого аэродрома, — это его тоже не волнует.

Но то, что мистер Бэрри так любил общество своей матушки и охотно сопровождал ее на премьеры, концерты, спортивные состязания и тому подобное, доказывало что угодно, только не бесполоую сущность нейтро. Раз ему настолько нравится хоть что-то в жизни, ему не придется в ближайшем будущем участвовать в великом параде нейтро.

И его матушке тоже.

110

■ Фреду и его матушке действительно понравилась пьеса "Катманду", они долго не ложились спать, чтобы дожидаться первых выпусков утренних газет и прочитать рецензии. Их очень рассердило, что ни один критик не досидел до конца и не узнал, нашел Джон Форчун Шангри-Ла или нет.

Мистер Бэрри сказал, что ему хотелось бы увидеть эту пьесу в исполнении труппы из Огайо. Он добавил, что нью-йоркским артистам

никогда не понять, почему простой фермер до конца жизни искал великую мудрость в Азии, хотя вряд ли там можно найти какую-то великую мудрость.

А года через три, как я уже говорил, желание мистера Бэрри исполнилось: мидлэндский "Клуб парика и маски" поставил "Катманду" на школьной сцене, и главную женскую роль поручили несчастной Селии Гувер.

О господи!..

■ Я по-прежнему называл Фреда Т. Бэрри "мистер Бэрри", будто он был старше самого Создателя. А ведь тогда ему было всего каких-нибудь пятьдесят лет - мне теперь как раз столько. А его матушке было семьдесят пять, и жить ей оставалось еще лет восемь до того, как она попыталась спасти летучую мышь, висевшую вниз головой на портьере в гостиной.

Мистер Бэрри был изобретателем-самоучкой и очень ловким дельцом. Вооружением он занялся совершенно случайно. Оказалось, что таймеры, выключавшие и включавшие стиральные машины, которые он делал на старом автомобильном заводе Кидслера, можно использовать в военных целях. Это идеальное приспособление для бомбометания. Теперь бомбы отделялись от самолетов через определенные промежутки времени и ложились точно по цели. Когда война кончилась, стали поступать заказы на еще более сложное оружие, и мистер Бэрри стал привлекать к работе все более выдающихся ученых, инженеров и техников, чтобы держаться на уровне.

Было приглашено много японских специалистов. Мой отец принял первых итальянцев, прибывших в Мидлэнд-Сити. Мистер Бэрри пригласил первых японцев.

Мне никогда не забыть, как японец впервые пришел к нам, в аптеку Шрамма, когда я служил там ночным дежурным. Я уже говорил, что наша аптека, как маяк, притягивала всяких психов и лунатиков — а этот японец был тоже вроде лунатика, поскольку его притягивала Луна. Он ничего не собирался покупать. Он только хотел, чтобы я вышел полюбоваться каким-то чудом при лунном свете.

111

Угадайте, что это было. Это была шатровая шиферная крыша моего родного дома всего в нескольких кварталах от моей работы. Вместо прежнего купола был теперь остроконечный конус, покрытый светло-серым толем. При свете полной луны он сверкал, как снег.

Японец улыбался и показывал на крышу. Он и не подозревал, с какими событиями связан для меня этот дом. Он просто хотел поделиться со мной своим восторгом — поблизости я один в это время не спал.

— Фудзияма, — сказал он. — Священный вулкан Японии.

■ У мистера Бэрри, как у большинства самоучек, голова была забита уймой всяких сведений, которых он случайно нахватался где попало, — сведений, не известных никому, кроме него. Например, он вдруг спросил меня, знаю ли я, что сэр Галахад¹ был еврей?

Я вежливо ответил, что не знаю. Мы сидели в самолете Бэрри. Я ждал, что сейчас услышу какую-нибудь обидную антисемитскую шуточку. Но я ошибся.

— Даже сами евреи не знают, что сэр Галахад был еврей, — продолжал он. — Про Христа знают, про Галахада — нет. А я у каждого знакомого еврея спрашиваю: "Как это вы никогда не хвалитесь, что сэр Галахад тоже еврей?" Я даже всем говорю, где они могут об этом прочитать. Я им говорю: "Первым делом прочитайте про Святой Грааль".

Фред Т. Бэрри излагал это так: некий иудей по имени Иосиф Аримафейский после Тайной Вечери взял чашу, из которой пил Христос. Он верил, что Христос — бог.

Иосиф принес чашу к подножию креста, на котором был распят Христос, и собрал в нее капли крови Учителя. Иосифа заключили в тюрьму за сочувствие христианам. Он был лишен воды и пищи, но прожил в темнице несколько лет. Оказалось, что чаша, которая была при нем, ежедневно наполнялась пищей и водой.

И римляне отпустили Иосифа. Они не знали про чашу, иначе они, наверное, отобрали бы ее. Иосиф отправился в Англию — проповедовать учение Христа. Всю дорогу его поила и кормила чаша. И этот бродячий еврей основал первую христианскую церковь в Англии, в Гластонбери. Он воткнул свой посох в землю — и тот стал живым деревом, расцветающим каждый сочельник.

Можете себе представить...

У Иосифа были дети, и чаша досталась им в наследство — ее потом называли "Святой Грааль".

¹Один из рыцарей Круглого стола.

112

Но прошло пять веков, и за это время Святой Грааль куда-то исчез. Король Артур и его рыцари искали как одержимые эту чашу — самую священную для англичан реликвию. Рыцари один за другим возвращались ни с чем. Но шли послания с неба, что эти рыцари недостаточно чисты сердцем и потому Святой Грааль от них скрыт.

Но вот сэр Галахад предстал перед двором в Камелоте, и все поняли, что он совершенно чист сердцем. И он отыскал Святой Грааль. Он отыскал Грааль не только потому, что был чист духом, но и потому, что имел на это законное право — он был последним потомком бродячего еврея Иосифа Арима-фейского.

■ Мистер Бэрри объяснил мне, откуда произошло выражение "мишень для шуток". Первой мишенью на состязаниях стрелков из лука был просто пень. Я сказал ему, что я, должно быть, стал мишенью для шуток всего Нью-Йорка, как тот самый пень. А мать Фреда сказала мне, имея в виду себя: — Привет вам от мишени для шуток Мидлэнд-Сити, Венеции в Италии, Мадрида в Испании, Ванкувера в Британской Колумбии, Каира в Египте — да и вообще любого стоящего города, какой ни назови.

■ Феликс завязал разговор с пилотом Тигром Адамсом про Селию Гилдрет, ставшую в замужестве Селией Гувер. Тигр Адаме, который был в школе на класс старше Феликса, пригласил ее один раз на вечер — и с него хватило. Он сказал, что ей еще повезло - вышла замуж за продавца автомобилей, которому было плевать, как там у нее работает мотор. "Пирожок с ничем", — сказал он. Так у нас говорят про автомобиль — очень роскошный, красивый, со всякими штучками, а хорош он на ходу или нет — никого не касается.

От Тигра Адамса я услышал тогда одну интересную вещь: каждый вечер Селию можно встретить в ХАМПе, где она занимается в разных кружках: изучает каллиграфию, современные танцы, торговое право и все такое. Она там занимается уже два года, а то и дольше.

Феликс, наклонившись к Адамсу, спросил его, как Двейн относится к тому, что его жена по вечерам никогда не бывает дома. И Адаме ответил, что Двейн, должно быть, уже отказался от попыток заинтересовать ее любовью. Мертвое дело. Двейн, как видно, утешился в объятиях другой красотки.

113

— Наверное, это для него просто привычка, как чистить зубы от камня. — Адаме расхохотался. — Каждый должен это проделывать хотя бы два раза в год.

— Знойный городок! Одни сексуальные маньяки! — заметил Феликс.

— Лучше бы делом занимались, - сказал Адаме. — Если все города станут такими, как Голливуд и Нью-Йорк, страна просто погибнет.

■ После того как мы приземлились в Цинциннати, на единственной открытой взлетно-посадочной полосе, я понял, что ее, не считаясь с расходами, расчистили специально для нас. Вот каким важным человеком был Фред Т. Бэрри. Выяснилось, что у него было здесь срочное дело, но ни он, ни его матушка нам не проговорились. Видно, авиация очень нуждалась в той секретной работе, которую для нее выполнял "Бэрри-трон". Вертолет уже ожидал Фреда Т. Бэрри, чтобы доставить его прямо в Мидлэнд-Сити, где он должен был оценить и ликвидировать повреждения, нанесенные заводу ураганом.

Для того чтобы ему разрешили взять нас с собой, он сказал, что мы с Феликсом — два самых ответственных лица во всем "Бэрритроне". И мы снова поднялись в воздух, на этот раз в трескучей конструкции, которую изобрел еще Леонардо да Винчи. Наверное, Леонардо хотел сделать что-то наподобие мифической химеры — полуорла-полукорову.

Этот образ придумал Фред Т. Бэрри: "Полуорел-полукорова".

Он подарил мне еще один образ, когда тень нашей летательной машины тяжелее воздуха скользила по нетронутой снежной целине там, где раньше пролегало шоссе Цинциннати — Мидлэнд-Сити.

Меня всего свело от страха, и я сидел, скорчившись в своем кресле, вспоминая ужасы, о которых я слышал и читал в Нью-Йорке. Ясно, что внизу, под нами, тысячи людей умирают или уже умерли. Сколько времени понадобится для розыска всех трупов и для восстановления разрушенных зданий? Наверное, Мидлэнд-Сити и Шепердстаун теперь напоминают французские города, через которые проходила линия фронта во время первой мировой войны.

Но Фред Т. Бэрри, неисправимый оптимист и весельчак, сказал мне:

—Ничего особенного, просто большая драка подушками.

—Как? — переспросил я.

—Люди всегда во время снежной бури ведут себя так, будто настал конец света, — сказал он. — Как птицы после за-

114

хода солнца. Птицам кажется, что солнце больше никогда не взойдет. Прислушайтесь к птичьим голосам на закате.

—Простите, сэр? — сказал я.

—Через несколько дней или недель снег растает, — сказал он, — и выяснится, что все в порядке, никто особенно не пострадал. Правда, вам сообщат по радио, что столько-то человек погибло во время бурана, но ведь их все равно ждала неизбежная смерть. Кто-то умер от рака, проболев одиннадцать лет, а по радио и его объявят жертвой этого бурана.

Мне стало легче. Я выпрямился, уселся поудобнее.

—Этот буран — просто вселенская драка подушками, —сказал он.

Его мать рассмеялась. Оба они — и мать и сын — были так бесхитростны, так бесстрашны. Им так весело жилось!

■ Но Фред Т. Бэрри, наверное, хоть на минуту пожалел о своих словах, когда мы увидели сверху наш каретный сарай. Мы сделали круг над городом и заходили с севера к нашей крыше. Большое северное окно до половины занесло снегом. Сугробы завалили доверху заднюю, кухонную дверь. Глядя на это из вертолета, я даже подумал, что в доме стало уютнее, что сугробы укроют его от ветра.

Но мы пришли в ужас, увидев, что делалось у южной стены. Ворота, распахнутые для Селии Гилдрет в 1943 год>, снова были открыты настежь. Потом мы обнаружили, что задняя дверь не выдержала напора ветра, буран ворвался в дом и распахнул огромные южные ворота. Казалось, разверстая пасть пытается изрыгнуть сугробы, наваленные внутри. На какую же высоту намело снегу в доме? Футов на шесть, а то и больше.

21

Фреда Т. Бэрри и его матушку высадили из вертолета на крышу "Бэрритрона". Мистер Бэрри продолжал делать вид, что мы с Феликсом — его служащие, и строго наказывал летчику, чтобы он нас доставил, куда нам надо, и чтоб он не бросал нас и делал все, что мы скажем. Мы так подружились, столько вместе пережили, что всем хотелось видаться почаще, и казалось, что в Мидлэнд-Сити нет других таких славных, таких интересных людей, как мы. И так далее.

Однако потом мистер Бэрри пет десять не давал о себе знать, а его матушку я вообще больше никогда не видел. С глаз долой — из сердца вон. Так уж у них повелось, у этих Бэрри.

115

■ И мы с Феликсом гоняли на военном вертолете, как на такси. Мы вернулись к нашему каретному сараю. Никаких следов на снегу не было. На нас были куртки, шляпы и перчатки, а вот сапог не было. Мы были в обычных городских полуботинках, и, когда мы беспомощно барахтались, пробираясь внутрь, в них набился снег. Может, наши родители лежат под этой снежной горой? Тогда они, наверное, уже погибли.

Мы подошли к лестнице, до половины занесенной снегом. Зная наших родителей, мы предполагали, что, как только начался буран, они, наверное, сразу же легли спать. И они ни за какие блага не вылезли бы из-под одеял, даже когда внизу закрутилась вся эта адская свистопляска. Мы с Феликсом зашли в их спальню. Постель была пуста. Вдобавок с нее исчезли все простыни и одеяла. Очевидно, мама и отец закутались в эти одеяла и простыни и в конце концов решили спуститься вниз.

Я поднялся еще выше, туда, где раньше была наша оружейная комната, а Феликс осмотрел все спальни на галерее.

Мы боялись найти замерзшие тела, окоченевшие, негнувшиеся, как железные, - такой холод стоял в доме. У меня в голове мелькнули слова: "замороженные фонды".

Феликс крикнул с галереи:

—Есть тут кто-нибудь?

А потом, когда я спустился из оружейной, он взглянул на меня и сказал измученным голосом:

—Приятно вернуться в родной дом.

■ Мы нашли маму и отца в городской больнице. Отец был при смерти —двустороннее воспаление легких и вдобавок почечная недостаточность. У мамы были отморожены пальцы на руках и на ногах. Отец захворал еще до бурана и как раз собирался лечь в больницу.

Прежде чем снег окончательно завалил все улицы, мама вышла в пургу в халате, ночных туфлях и ночной рубашке, накинув на плечи парадный мундир венгерской лейб-гвардии и нахлобучив на лоб соболью шапку. Она обморозила руки и ноги, но ей удалось знаками подозвать бульдозер-снегоочиститель. И рабочие завернули ее с отцом в одеяла и отвезли в больницу, где, к счастью, имелся аварийный дизельный движок.

Когда мы с Феликсом вошли в вестибюль больницы, не зная, найдем ли мы там своих родителей, мы пришли в ужас от того, что там творилось. Сотни совершенно здоровых людей кинулись туда искать убежища, хотя там еле хватало места для тяжелобольных. Все уборные

были загажены, и по-

116

страдавшие уже разбрелись по всей больнице, ища, чего бы поесть и где бы примоститься.

Это были мои земляки. Они снова становились пионерами, первопоселенцами. Они закладывали новый поселок.

Они толпились у справочного стола, а мы с Феликсом пытались пробиться сквозь эту толпу. Можно было подумать, что мы — на Клондайке и толпа золотоискателей штурмует бар. Я сказал Феликсу, что попытаюсь прорваться к справочному столу, а он пусть смотрит — нет ли тут знакомых, может быть, они что-нибудь знают про наших родителей.

И когда я протискивался сквозь толпу, мне слышалось непрерывное жужжание, словно тысячи невидимых насекомых кружили над моей головой. В больничном вестибюле было жарко и сыро, тут могли бы развестись тучи настоящих насекомых, но это были не насекомые, а мое внутреннее состояние. Эти гудящие рои не осаждали меня в Нью-Йорке, но здесь, в родном городе, они снова вернулись. Это были обрывки информации: то, что я знал о других людях, и то, что они знали обо мне.

Конечно, я был знаменитостью в Мидлэнд-Сити, и до моего слуха долетел - или мне так показалось — чей-то громкий шепот: "Малый Не Промых".

Я не подавал виду, что слышу этот шепот. Стоило ли встречаться глазами с кем-то из них и укорять вот того мужчину или вон ту женщину за то, что они меня обозвали Малый Не Промых? Эту кличку я заслужил.

Пробившись к справочному столу, я понял, что большинство толпившихся вокруг людей искали не информации, а сочувствия. Измотанным до предела женщинам за столом не задавали ни одного серьезного вопроса.

Вот типичные образчики вопросов:

— Скажите, мисс, что нового?

— Где нам достать одеяла?

— Вы знаете, что в дамской комнате нет туалетной бумаги?

— Скажите, у вас только тяжелобольным дают отдельную палату?

— Вы не можете разменять мне монетку, а то у меня нет мелочи, а надо позвонить, как только автомат заработает.

— У вас правильные часы?

— Можно нам занять конфорку в кухне, всего минут на пятнадцать?

— Тут мой доктор, мистер Митчелл? Правда, я пока здорова, но сообщите ему, пожалуйста, что я здесь, на всякий случай.

— Вы уже составили список прибывших? Сказать вам мою фамилию?

117

— Извините, можно где-нибудь получить деньги по чеку?

— Хотите, я вам помогу?

— У моей матери левая нога разболелась, никак не проходит. Что мне делать?

— Да что там делает наша электрокомпания?

— Скажите, надо сообщать, что у меня еще с первой мировой войны вся нога нашпигована шрапнелью?

Я восхищался тремя женщинами, сидевшими за справочным столом. Они отвечали так терпеливо, так вежливо. Только одна из них вдруг рассердилась на бывшего офицера первой мировой войны с нашпигованной шрапнелью ногой. Он был недоволен ее кратким ответом и сказал, что она не годится в медицинские сестры, раз не слушает пациентов, которые ей пытаются пожаловаться на свои болезни. Я смутно припомнил, кто он такой — ни в какой войне он никогда не участвовал. Это был один из братьев Гэтч, которые работали в строительной компании братьев Маритимо, пока их не выгнали за кражу инструментов и строительных материалов.

А значит, именно с его дочкой я учился в одной школе, звали ее не то Мэри, не то Марта, не то Мария, она была класса на два старше меня и в магазинах тащила с прилавков все, что под руку попадется. Всегда старалась подольститься к одноклассникам — дарила им краденые вещи, чтобы купить их дружбу.

А тут женщина за столом с горечью объясняла папаше этой вороватой девицы, что она просто домашняя хозяйка и что она не спала целые сутки. А сейчас уже наступал вечер.

И я вдруг понял, кто она такая, узнал ее, и не смутно, а совершенно точно. Для меня она, не спавшая двадцать четыре часа, стала воплощением многострадальных милосердных женщин всех стран, всех веков. Она не называла себя "сестрой милосердия", но такие, как она, были сестрами милосердия, скромными, простыми.

Но кто же была эта поистине прекрасная, бескорыстная, милая женщина, сидевшая у справочного стола? Какая неожиданность! Это была Селия Гувер, урожденная Гилдрет, жена торговца автомобилями марки "пontiак" — та, которую в школе считали глупой и недалекой. Я хотел,

чтобы Феликс посмотрел на нее, но не мог его отыскать. А в последний раз он ее видел в тот вечер, когда она убежала по пустырю, и было это давным-давно, в 1943 году.

■ Она была роботом, встроенным в стол. От усталости ей изменяла память. Я спросил ее, не лежат ли в больнице мистер Отто Вальц и его жена, и Селия посмотрела в картотеке. Да,

118

машинально сказала она. Отто Вальц в тяжелом состоянии, лежит в отдельной палате, и посетителей к нему не пускают, потому что он очень плох, но состояние Эммы Ветцель-Вальц вполне удовлетворительно, и ее поместили в палату для выздоравливающих, устроенную в подвальном этаже.

Значит, еще один член нашего почтенного семейства угодил в подвал.

В больничном подвале я никогда не бывал. Но слышал я о нем еще с детских лет: там был городской морг.

Туда сразу же отвезли Элоизу Метцгер, которой я влепил пулю в лоб.

■ Феликса я разыскал в уголке вестибюля, куда он забился, злясь на толпу. Он ничего не сделал, чтобы отыскать маму и отца. Толку от него не было никакого.

—Помоги мне, Руди, — взмолился он. — Мне опять всего семнадцать лет. — И это была правда.

— А кто-то сейчас назвал меня Бархатный Туман, — удивленно сказал он. Так прозвали знаменитого эстрадного певца Мела Торме за его бархатный голос и Феликса в старших классах.

— И окликнул он меня с издевкой, - говорил Феликс, - в насмешку, будто я должен стыдиться самого себя. Толстенный, и глаза голубые, как ледышки. Не очень молодой, в пиджачной паре. Но с тех пор, как я ушел в армию, меня так никто не называл.

Я сразу догадался, о ком он говорит. Не иначе как Джерри Митчелл — его одноклассник и злейший враг.

—А-а, - сказал я. — Это Джерри Митчелл!

—Разве это он? — сказал Феликс. — Толстый такой. И лысый.

—Мало того, - сказал я. — Он теперь стал врачом.

—Жалко мне его пациентов, — сказал Феликс. — Помню, как он мучил собак и кошек, а хвастался, что производит научные эксперименты.

Это были пророческие слова. Доктор Митчелл вскоре создал себе обширную практику, проповедуя, что в наше просвещенное время никто не должен терпеть дискомфорт, неудовлетворенность, так как теперь есть пилюли от чего угодно. И он выстроил для себя прекрасный огромный особняк на Фэйрчайлдовских холмах, совсем рядом с особняком Двейна и Селии Гувер, и с его легкой руки не только Селия, но его собственная жена и еще бог знает сколько людей стали отравлять свой мозг и убивать душу амфетамином.

У меня в голове жужжал рой обрывков всякой информации, и вот что я выудил оттуда: доктор Джером Митчелл женился на Барбаре, в девичестве Сквайре, младшей сестре Эн-

119

тони Сквайрса. Того самого Энтони Сквайрса, полицейского, который придумал мне прозвище Малый Не Промых.

■ Мы все были около постели моего отца, когда он умирал: мама, Феликс и я. Джино и Марко Маритимо, верные до конца, приехали в больницу на собственном бульдозере. Потом оказалось, что эти милые старички наделали дорогой много бед и причинили ущерб на сотни тысяч долларов: раздавили чьи-то машины, стоявшие возле домов, снесли заборы, сбили кое-где пожарные колонки и почтовые ящики. А теперь их не пустили в палату — пришлось им стоять в коридоре, потому что к отцу пускали только близких родственников.

Отец лежал в кислородной палатке. Его накачали антибиотиками, но организм не смог справиться с воспалением легких. Слишком много было других бед. В больнице сбрили его прекрасные, густые, как у юноши, кудри и усы, чтобы они не вспыхнули от случайной искры в кислороде, которым дышал отец. Когда мы с Феликсом вошли к нему в палату, он спал, но тревожно метался во сне — наверное, его мучили кошмары.

Мама находилась в больнице уже несколько часов. Ее отмороженные руки и ноги были засунуты в пластиковые мешки, наполненные желтой мазью, так что она не могла до нас дотронуться. Оказалось, что ее лечили методом, изобретенным здесь, в Мидлэнд-Сити, в это самое утро, доктором Майлсом Пендлтоном. Мы думали, что всех отмороженных так лечат. Но оказалось, что этот экспериментальный метод первый и единственный раз в истории испытали на нашей матери.

Она была человеком в рели морской свинки, а мы об этом и не подозревали.

К счастью, ей это не повредило.

■ Смотровой глазок моего отца навсегда закрылся к вечеру, перед заходом солнца. На следующий день после премьеры моей пьесы — первого и последнего спектакля. Отцу было шестьдесят восемь лет. Мы с Феликсом услышали от него одно-единственное последнее слово. — Мама, — позвал он. А мама рассказала нам, о чем он с ней говорил незадолго до смерти. Он сказал, что он всегда любил детей, всегда старался быть честным и что он по крайней мере пытался внести красоту в жизнь Мидлэнд-Сити, хотя сам так и не стал настоящим художником.

120

■ Он упомянул про оружие, но ничего не объяснил. По словам мамы, он только сказал: "Оружие..." Все переломанное и перебитое им оружие, в том числе и роковая винтовка "спрингфилд", было сдано в утиль во время войны, туда же сдали и флюгер. Но, быть может, это разбитое оружие убило еще кучу народу: его переплавили, и металл пошел на бомбы, снаряды, ручные гранаты и так далее.

Крошки не бросай — наберешь на каравай!

■ Насколько я понимаю, у отца была только одна сокровенная тайна, которую он мог бы выдать перед смертью: кто убил Августа Гюнтера и куда девалась его голова. Но он ничего не сказал. А кому до этого было дело? Какую пользу принесло бы нашему обществу, если бы Фрэнсиса Кс. Морисси, начальника полиции, который уже собирался в отставку, стали судить за то, что он сорок четыре года тому назад случайно снес голову старику Гюнтеру выстрелом из крупнокалиберного ружья?

Не буди спящих псов!

■ Когда мы с Феликсом пришли к отцу, он уже совсем впал в детство. Ему казалось, что его мамочка где-то рядом. Он умер в полной уверенности, что некогда был обладателем одной из десяти гениальнейших картин на свете. Но это не была "Миноритская церковь в Вене" Адольфа Гитлера. Перед смертью отец ни разу не вспомнил Гитлера. За фюрера ему уже влетело по первое число. По его мнению, одним из величайших художественных произведений в мире была картина Джона Реттига "Распятие в Риме", которую он купил за гроши в Голландии еще в юности. Теперь эта картина висит в Музее изобразительных искусств в Цинциннати.

Кстати, "Распятие в Риме" — одна из немногих коммерческих удач отца за всю его долгую жизнь, и не только в области искусства, но вообще в какой бы то ни было области. Когда им с матерью пришлось распродавать все свои сокровища, чтобы расплатиться с Метцгерами, они воображали, что за одни картины можно выручить сотни тысяч долларов. Насколько я помню, они дали объявление в одном из журналов по искусству, что продается ценная коллекция картин и осмотреть это собрание серьезные коллекционеры или работники музеев могут на месте, у нас дома, по предварительной договоренности.

121

До Мидлэнд-Сити взглянуть на картины добралось человек пять, насколько я помню, и все они, увидев коллекцию, покатывались со смеху. Помню, что один из покупателей хотел приобрести сотню картин оптом для своего нового мотеля в городке Билокси, штат Миссисипи. Но остальные, как мне показалось, понимали и любили искусство.

И все-таки одна картина заинтересовала знатоков — это "Распятие в Риме". Музей Цинциннати купил ее за небольшую сумму, и купил не потому, что они оценили ее гениальность, а потому, что ее написал уроженец Цинциннати. Картина была маленькая, не больше листа картона, которые вкладывают в мужские рубашки, не больше незаконченной работы отца — нагой натурщицы в его венской студии.

Джон Реттиг умер в год моего рождения — в 1932 году, но в отличие от меня он уехал из своего родного города и никогда больше туда не возвращался. Он жил на Ближнем Востоке, потом в Европе и наконец осел в городе Волендаме, в Голландии. Там он обрел вторую родину, и там отец "открыл" его перед первой мировой войной.

Город Волендам стал для Джона Реттига его Катманду. Когда отец его встретил, этот уроженец Цинциннати был обут в деревянные башмаки.

■ "Распятие в Риме" подписано "Джон Реттиг". Дата - 1888 год. Реттиг написал ее за четыре года до рождения отца. Купил ее отец году в 1913-м. Феликс думает, что отец отправился в это короткое увеселительное путешествие по Голландии вдвоем с Гитлером. Кто его знает.

"Распятие в Риме" изображает город Рим, который я никогда не видал. Но я знаю о Риме достаточно, чтобы понимать, что картина так и кишит грубыми архитектурными анахронизмами. Например, Колизей изображен в целости и сохранности, но за ним виден шпиль

христианского храма, а некоторые архитектурные детали и памятники вообще принадлежат к гораздо более поздней эпохе, даже позже, чем эпоха Возрождения, может быть, вообще к девятнадцатому веку. На картине шестьдесят восемь крошечных, но четких человеческих фигурок, они будто пляшут на каком-то карнавале среди всех этих архитектурных и скульптурных шедевров. Мы с Феликсом как-то в детстве пересчитали эти фигурки. И еще сотни намечены только импрессионистическими мазками и точками. Развешаются флаги. Стены разукрашены гирляндами. Весело у них там.

И только, если попристальнее всмотреться в картину, увидишь, что двоим из шестидесяти восьми не больно-то весело.

122

Они изображены в нижнем левом углу и ничем не отличаются от остальных, разве что одной мелочью — они распяты на крестах.

Мне кажется, что эта картина - напоминание, хотя и до чрезвычайности мягкое, о беспечной бесчеловечности человека к человеку — во все времена, как и во времена Джона Реттига.

Я думаю, эта картина написана на ту же тему, что и "Герника" Пикассо, — я ее видел. Я видел "Гернику" в Музее современного искусства в Нью-Йорке, в перерыве между репетициями "Катманду".

Вот это картина!

22

Когда отец умер, я пошел в полном одиночестве побродить по коридорам больницы.

Может быть, некоторые и бормотали мне вслед: "Малый Не Промак", а может, и нет. Народу там было много.

И вдруг на четвертом этаже я неожиданно увидел зрелище необычайной красоты. В конце коридора была залитая солнцем комната отдыха для больных. И снова я залюбовался Селией Гувер, урожденной Гилдрет. Она уснула на диване, и ее одиннадцатилетний сын бережно охранял ее покой. Наверное, она взяла его с собой в больницу, чтобы не оставлять дома в пургу.

Он сидел, выпрямившись, на краешке дивана. Даже во сне она не отпускала его. Она крепко держала его за руку. Мне показалось, что, если он попытается встать, она и в полусне заставит его снова сесть рядом.

И ему, кажется, было хорошо.

■

Да... так вот... Через десять лет этот самый мальчик стал всем известным гомосексуалистом и жил в одиночестве, вдали от родного дома, в старой гостинице "Фэйрчайлд". Его отец Двейн Гувер отрекся от него. Мать стала затворницей. Он зарабатывал на жизнь, играя по вечерам на рояле в баре "Ату его!" в новой гостинице "Отдых туриста".

А я по-прежнему работал ночным продавцом в аптеке Шрамма, как и до провала моей пьесы в Нью-Йорке. Отца похоронили на Голгофском кладбище, не так уж далеко от Эло-изы Метцгер, Мы обрядили его в халат, какие носят художники, дали ему в левую руку палитру, даже на большой палец надели, как полагалось. А почему бы и нет?

123

Городские власти забрали старый каретный сарай за неуплату налогов в течение пятнадцати лет. Теперь внизу стояли скелеты старых ломаных автобусов и грузовиков, их растаскивали на части все кому не лень. Верхние этажи были завалены "замороженными фондами" архивов городского управления, скопившимися еще перед первой мировой войной.

Мы с матерью жили в крохотной трехкомнатной конурке-"нужничке" на участке в районе Эвондейл, построенном братьями Маритимо. Мы переехали туда месяца через три после смерти отца. Это жилье, в сущности, подарили нам братья Маритимо, Джино и Марко. С нас даже задатка не взяли. Мы с мамой были разорены вконец, а Феликс тогда еще не очень много зарабатывал, и, кроме того, ему предстояло платить алименты не одной бывшей жене, а двум. Но старые друзья Джино и Марко сказали, чтобы мы не беспокоились и въезжали поскорее. Они, как выяснилось, цену за дом назначили такую мизерную, что мы потом без труда заложили его. Это был дом-образчик: возле него уже и садик разбит, на окнах жалюзи, мощеная дорожка от калитки до крыльца, фонарь на столбе перед домом и всякие другие дорогостоящие излишества, о которых большинство покупателей и не просили, например прекрасный подвал, настоящий кафель в ванной, и стенной шкаф орехового дерева у мамы в спальне, и электрическая посудомоечная машина, и мусоропровод, и духовка, и ниша для обеденного стола в кухне, и камин с красивой каминной доской в гостиной, и очаг с вертелом во дворике, и ограда высотой в восемь футов на заднем дворе, и так далее, и тому подобное.

■

И вот, в 1970 году, когда мне уже было тридцать восемь лет, я все еще готовил для мамы, убирал по утрам ее постель, стирал на нее и так далее. Мой брат, которому было сорок четыре года, стал президентом Эн-би-си, жил в особнячке на крыше небоскреба с видом на

Центральный парк, входил в первый десяток самых элегантных мужчин страны и разводился уже с четвертой женой. Мы с мамой прочли в одной газетке, будто они просто поделили этот особняк на крыше пополам, перегородив его стульями. И заходить на чужую половину ни один из них не имел права.

Там еще писали, что Феликсу грозит отставка, потому что вечерние телепередачи его Эн-би-си просто невозможно смотреть.

Но Феликс это всегда отрицал.

124

Да... а еще у Фреда Т. Бэрри умерла мать, и строительной компании братьев Маритимо поручили возвести Мемориальный центр искусств имени Милдред Бэрри посреди Сахарной речки. Я не видел мистера Бэрри уже десять лет.

Но Тигр Адаме, его летчик, как-то зашел в аптеку Шрам-ма часа в два ночи. Я спросил его, как поживает мистер Бэрри, и он сказал, что тот ничем на свете, кроме Центра искусств, не интересуется.

— Говорит, что хочет подарить штату Огайо собственный Тадж-Махал, — рассказывал он. — Понятно, неумоготу ему в одиночестве. И если бы не этот Центр искусств, он бы, по-моему, руки на себя наложил.

На следующий день я зашел почитать про Тадж-Махал в нашу библиотеку-читальню, которую собирались снести, настолько этот район захирел. Приличные люди зимой туда ходить не любили, потому что там всегда было полно бездомных бродяг, заходивших погреться.

О Тадж-Махале я, конечно, слышал и раньше. Да и кто о нем не слышал? И в моей пьесе про него тоже шла речь. Старый Джон Форчун успел перед смертью взглянуть на Тадж-Махал. Он из тех мест прислал последнюю открытку, но я не знал никаких подробностей, когда, как и почему Тадж-Махал был построен.

Выяснилось, что он был закончен в 1643 году¹, за триста один год до того, как я застрелил Элоизу Метцгер. Строили его двадцать тысяч человек в течение двадцати двух лет.

И построен был этот мавзолей в память любимой жены. Вот кого ни у Фреда Т. Бэрри, ни у меня никогда не было. Звали ее Бегам Арджуман Бану. Она умерла родами. Муж ее, повелевший воздвигнуть этот мавзолей, не жалея затрат, был владыка из династии Великих Моголов, и звали его Шах-Джа-хан.

■

Тигр Адаме рассказал мне еще об одном человеке, которого я тоже давно не видал. Он сказал, что двое суток тому назад, ночью, он шел на посадку в аэропорту имени Уилла Фэйрчайлда и в самую последнюю секунду ему пришлось взять ручку на себя, потому что на посадочной полосе оказался человек.

Кто-то свалился прямо посреди полосы, да так и лежал.

¹В действительности сооружение Тадж-Махала было закончено в 1652 году.

125

В аэропорту в это время было всего два человека из персонала - дежурный на башне и один из братьев Гэтч, натиравший полы в помещении аэровокзала. И полотеру пришлось выехать в собственной машине за этим человеком на взлетно-посадочную полосу.

Он втащил таинственное существо в свою машину. И тут узнал Селию Гувер. Она была босая, в одной ночной рубашке и накинутой на плечи шинели мужа - как видно, пошла погулять, забрела миль за пять от своего дома и в темноте приняла взлетно-посадочную полосу за шоссе. И тут внезапно зажглись посадочные огни, и реактивный самолет "Бэрритрона" прошел над ней так низко, что разделил ей волосы пробором.

Никто не известил полицию, вообще никого не уведомили. Гэтч просто отвез ее домой.

Потом Гэтч рассказал Тигру, что в доме не было ни души, некому было спросить, где побывала Селия, никто не обрадовался, что она вернулась, и так далее. Она одна вошла в дом и, наверное, одна легла в постель. После того как она вошла, наверху минуты на три зажегся свет, потом погас. Наверное, свет включали в ванной.

И, по словам Тигра, Гэтч сказал, глядя на дом, где все окна были темные:

— Спи крепко, солнышко мое.

■

Однако все было не совсем так. Дома ее встретил пес, но она никакого внимания на него не обратила. Гэтч понял, что ей наплевать на собачий восторг. Она даже не приласкала пса, не похвалила, не позвала с собой наверх.

Пес, ньюфаундленд по имени Спарки, принадлежал Двейну Гуверу, но Двейн теперь почти не бывал дома. И Спарки был рад и счастлив, когда кто-нибудь приходил. Гэтчу Спарки тоже ужасно обрадовался.

■

Хотя я стараюсь ни к кому не привязываться и хотя с тех пор, как я убил Элоизу Метцгер, у меня появилось такое чувство, что мне на земле не место, Селию я все же любил, пусть немного. Ведь она играла в моей пьесе и очень серьезно относилась к моему произведению, так что

мне она стала казаться не то дочкой, не то сестренкой.

Чтобы быть идеально отчужденным от всего, идеальным нейтро, мне не следовало писать пьесу.

Чтобы быть идеальным нейтро, мне не следовало покупать себе новый "мерседес". Я не шучу: после смерти отца

126

десять лет я еженощно работал в аптеке, жил очень скромно в Эвондейле, так что накопил на белый восьмиместный "мерседес-280" и у меня еще осталась куча денег.

Это похоже на какой-то забавный анекдот. Вдруг Малый Не Промых разъезжает по городу на прекрасной, как волшебный корабль, белой машине, что-то бормоча, со скоростью мили в минуту. На самом деле я просто пел, чтобы разогнать тоску. "Фиидили уотт э бу-бу!" — распевал я в собственном "мерседесе", и "Рэнг-а-дэнг уии!", и так далее. "Фуудили эт! фууди л и эт!"

■

Вот самое тревожное, что Тигр Адаме рассказал про Се-лию: оказывается, за семь лет, миновавших с тех пор, как она играла в моей пьесе, бедняжка так подурнела, что стала уродиной, точно злая ведьма в сказке "Волшебник из страны Оз".

Именно так и сказал мне Тигр: «Черт подери, Руди, ты не поверишь, но она стала уродиной, как ведьма в "Волшебнике из страны Оз"».

■

А неделю спустя она явилась ко мне в аптеку в полночь — в час ведьм.

23

Я только что пришел на работу. Я стоял у задней двери, любовался своим новым "мерседесом" и слушал слегка приглушенный шум, похожий на шум волн, разбивающихся о берег где-то неподалеку. На самом же деле это был шум гигантских девятиосных грузовиков, которые мчались по государственной магистрали. Ночь была благоуханная. Мне не хватало только укулеле — так я разнежился.

Я стоял спиной к провизорской — там хранились лекарства от всех известных человеку болезней. Звон колокольчика известил меня о том, что в аптеку кто-то вошел. Конечно, это мог быть налетчик-убийца. Всегда можно было ждать, что ворвутся налетчики-убийцы или просто грабители. За те десять лет, что прошли после смерти отца, меня грабили шесть раз.

Вот какой я был герой.

Я пошел обслуживать покупателя —если это покупатель. Заднюю дверь я оставил незапертой. Если это грабители, я по-

127

пытаюсь улизнуть через заднюю дверь и спрятаться в зарослях бурьяна за грудой пустых консервных банок. Пусть он или она сами берут, что хотят. Я им, во всяком случае, помогать не стану.

Покупатель —если это покупатель —рассматривал темные очки, выставленные на крутящейся подставке. Но кому могли ночью понадобиться темные очки?

Это оказался какой-то недомерок. Но не настолько он был мал, вполне мог бы пронести обрез под длинной солдатской шинелью, едва не волочившейся по полу.

— Что вам угодно? — бодро спросил я. Может быть, у него голова разболелась или геморрой замучил.

Существо повернулось ко мне, и я увидел изборожденную морщинами маску с почти беззубым ртом — все, что осталось от лица Селии Гувер, когда-то первой красавицы города.

И тут моя память снова пишет пьеску.

Убогая аптека в самом нищем квартале маленького городка на Среднем Западе. Время — после полуночи. Р у д и В а л ь ц , толстый, бесполой фармацевт, узнает в полоумной старой ведьме-наркоманке С е л и ю Г у в е р , некогда первую красавицу города.

Руди. Миссис Гувер!

С е л и я. Мой герой!

Р у д и. Я? Что вы!

С е л и я. Да! Да! Именно вы! Мой герой, мой драматург!

Р у д и (озадаченный). Не надо! Прошу вас!

С е л и я. Ваша пьеса изменила всю мою жизнь!

Руди. Да, вы прекрасно играли в ней.
Селия. Все дивные слова, которые я произносила, — ведь это вы их написали. Я за миллион лет таких чудных слов не смогла бы придумать.
Руди. У вас все слова звучали гораздо лучше, чем я написал.
Селия. Я стояла на сцене, передо мной — зрители, они не сводили с меня глаз, слушали, как глупенькая Селия Гувер произносит эти изумительные слова. Они ушам своим не верили.
Руди. Мне тоже все казалось чудом.
Селия *(подражая выкрикам публики)*. Автора! Автора!
Руди. Здешняя публика ни один спектакль так хорошо не принимала. Что еще я могу сделать для вас?
Селия. Написать новую пьесу.
Руди. Это была моя первая и последняя пьеса.
Селия. Неправда! Я пришла, чтобы вдохновить вас. Поглядите-ка, у меня новое лицо. Оно должно вдохновить вас. Взгляните на мое новое лицо! Придумайте слова, подходящие

128

для такого лица! Напишите пьесу про безумную старуху!

Руди *{глядя на улицу за окном}*. Где вы поставили свою машину?
Селия. Я всегда мечтала о таком лице, думала: хорошо бы с таким лицом родиться! Скольких несчастий можно было бы избежать. Все при виде меня говорили бы: "Не троньте эту безумную старуху!"
Руди. Ваш муж дома?
Селия. Ты — мой муж! Я пришла, чтобы тебе это сказать!
Руди. Селия, вы больны! Как зовут вашего врача? Кто вас лечит?
Селия. Ты - мой врач. Во всем городе ты один помог мне обрести радость жизни, твои волшебные, исцеляющие слова - мое лекарство!
Я не могу жить без этих слов!
Руди. Вы потеряли туфли.
Селия. Я сбросила их! Ради тебя. Я все туфли выбросила! Все - в мусорном ящике!
Руди. Как вы добрались сюда?
Селия. Пешком. И домой вернусь пешком.
Руди. Но на дороге полно битого стекла.
Селия. Ради тебя я прошла бы хоть по раскаленным угольям. Я люблю тебя. Я без тебя не могу.
Руди обдумывает это признание, у него возникает циничная догадка, и он вдруг чувствует себя глубоко усталым.
Руди *(скучным голосом)*. Без наркотиков...
Селия. Что за парочка! Безумная старуха и Малый Не Промых!
Руди. Вы хотите получить у меня наркотики без рецепта.
Селия. Я люблю тебя!
Руди. Да, конечно. Но не любовь, а наркотики доводят человека до того, что он в полночь готов идти по битому стеклу. Что вам нужно, Селия, — амфетамин?
Селия. Нет, по правде говоря...
Руди. Что именно?
Селия *(небрежно, как будто это самое обычное лекарство)*. Бифетамин Пеннвальта, пожалуйста!
Руди. "Черные красотики"?
Селия. Разве их так называют? Никогда не слыхала.
Руди. Но вы знаете, какие они черные, блестящие.
Селия. Ты слышал, что мне нужно?
Руди. Здесь вы их не получите.
Селия *(возмущенно)*. Но мне их прописывали годами!
Руди. Не сомневаюсь. Но сюда вы за ними ни разу не приходили, с рецептом или без рецепта, — ни разу.

129

С е л и я. Но я еще пришла просить тебя — напиши для меня пьесу!

Р у д и. Вы пришли, потому что вас больше не пускают ни в одну аптеку. И я вам не дам этот яд, хотя бы сам господь бог выписал вам рецепт. А теперь вы скажете, что вовсе меня не любите.

С е л и я. Просто не верится, что ты такой злой!

Р у д и. Кто же тот добряк, что травил вас столько лет? Знаю, доктор Митчелл — заодно с владельцами аптеки на Фэйрчайлдовских холмах! Теперь они до смерти перепугались, что довели вас до такого состояния. Но слишком поздно.

С е л и я. Почему ты так страшишься любви?

За прилавком звонит телефон. Руди снимает трубку.

Р у д и. Простите. *(В трубку.)* Аптека Шрамма. *(Спокойно выслушивает короткий вопрос.)* Так меня прозвали. *(Вешает трубку.)* Кто-то хотел узнать, вправду ли я — Малый Не Промах. Вот что, миссис Гувер, я хорошо знаю, что такое многолетняя привычка к амфетамину: полагаю, что через некоторое время вы впадете в буйство. Конечно, если придется, я все стерплю, но мне бы хотелось помочь вам вернуться домой.

С е л и я. Больно много ты знаешь!

Р у д и. Где сейчас ваш муж? Можно ему позвонить? Он дома?

С е л и я. В Детройте.

Р у д и. Но ваш сын, кажется, живет недалеко отсюда?

С е л и я. Я ненавижу его, и он меня ненавидит.

Р у д и. Право, мы как будто уже играем пьесу про безумную старуху. Я позвоню доктору Митчеллу.

С е л и я. Он меня больше не лечит. Двейн избил его на прошлой неделе за то, что он давал мне эти пилюли столько лет подряд.

Р у д и. Двейн молодец!

С е л и я. Правда, мило? А как только Двейн вернется из Детройта, он отправит меня в сумасшедший дом.

Р у д и. Вам так необходима помощь. Вам необходимо помочь.

С е л и я. Тогда обними меня! Не нужен мне этот бифета-мин Пеннвальта! Ничего мне не нужно! *[Деловито смахивает с прилавка на пол все лекарства, косметику и прочее.]*

Р у д и. Не надо, прошу вас!

С е л и я. О, я расплачусь, за все расплачусь, что вздумается разбить. Денег у меня хватит. *(Вынимает из кармана шинели пригоршню золотых монет.)* Видал?

130

Р у д и. Золотые!

С е л и п. А как же! Я шутить не люблю! Мой муж собирает монеты, понимаешь?

Р у д и. Но тут на несколько тысяч долларов!

С е л и я. Все твои, все, солнышко мое! *(Сыплет деньги к его ногам.)* Теперь поцелуй меня или дай немножко бифета-мина Пеннвальта!

Руди идет к телефону, набирает номер. Ожидая, пока ответят, тихонько напевает себе под нос: "Скидди-уа, скидди-уу" — и т. д.

С е л и я. Куда ты звонишь?

Р у д и. В полицию.

С е л и я. Ах ты, жирная скотина! *(Сбивает с прилавка вертушку с темными очками.)* Сволочь нацистская!

Р у д и *(в трубку)*. Это Руди Вальц, из аптеки Шрамма. Кто говорит? А, это ты. Боб! Не узнал твой голос. Мне тут нужна помощь.

С е л и я. Что, помощи просишь? Вот тебе помощь! *(Бьет и ломает все, что попадает под руку.)* Убийца! Маменькин сынок!

Р у д и *(в трубку)*. Нет, никакой уголовщины. Душевнобольная.

Занавес

■

Но Селия успела сбежать до прихода полиции. Когда полицейские пришли и увидели, что она натворила, ее уже не было: она босиком, как тогда, ушла в темноту. Второй раз.

Да, история повторяется.

Полицейские пошли ее искать. Ее могли ограбить, изнасиловать. Ее могли искушать собаки. Могла сбить машина.

Тем временем я стал убирать аптеку, где она учинила такой разгром. Аптека мне не принадлежала, она была чужая, так что не в моей власти было прощать или не прощать Селию. Придется сообщить мужу Селии, и потом ему придется выложить тысячу долларов, если не больше. Селия перебила самые дорогие духи. За часы она тоже взялась, но часы уцелели. Разбить часы фирмы "Таймекс" практически невозможно. Почему-то чем дешевле часы, тем они прочнее.

Пока я убирал, меня мучила совесть. Может быть, надо было ее обнять, успокоить или дать ей амфетамин? Лекарства успели так повредить ее мозг, что она уже не была прежней Селией Гувер. Она стала чудовищем. Если бы я согласился пи-

131

сать пьесу про нее теперешнюю, она не смогла бы запомнить ни одной реплики. Ее пришлось бы играть другой актрисе — в жутком парике, с вычерненными зубами.

Какие же чудесные слова мог бы автор вложить в уста такой вот безумной старухи?

И я придумал: зрители были бы потрясены, если бы Селия сыграла столетнюю старуху и под конец объявила бы им, сколько ей лет на самом деле. Ведь тогда, когда она разнесла нашу аптеку, ей было всего сорок четыре года.

И еще у меня мелькнула мысль: может быть, надо, чтобы за сценой прозвучал Глас Божий. У актера, которому дадут эту роль, должен быть голос как у моего брата.

И актриса в роли Селии будет спрашивать: зачем господь послал ее на эту землю?

И тут за сценой Глас Божий пророкочет:

— Чтобы плодиться и размножаться. Меня больше ничего не интересует. Все остальное — вздор.

■ А у Селии было потомство, не то что у меня. Я решил отложить уборку и позвонить ее сыну Кролику. Наверное, он сейчас у себя в номере гостиницы "Фэйрчайлд", только что вернулся с работы в "Отдыхе туриста".

Он не спал. Кто-то мне сказал, что Кролик всю нюхает кокаин. Впрочем, может, это была просто сплетня.

Я сказал ему, кто я такой, объяснил, что его мать была у меня в аптеке и что ей, несомненно, нужна помощь.

— Вот я и решил сообщить вам, — добавил я.

Я посмотрел в угол и увидел мышонка, который подслушивал, что я говорю. Но мышонку придется догадываться, о чем разговор — он слышал только мои слова.

А на другом конце провода этот несчастный молодой педик, которого лишили наследства, хохотал до упаду. Кролик не пожалел мать, узнав, как тяжело она больна. Ни слова не сказал. Страшно было слушать, как он гогочет. Значит, он ненавидит ее всерьез.

Но потом он приутих и спросил: может, лучше мне позаботиться о своих собственных родственниках?

— О чем это вы? — сказал я. А мышонок, наострив ушки, прислушивался к моему голосу, не пропуская ни словечка.

— Вашего братца только что вытурили с Эн-би-си, — сказал он.

Я ответил, что это просто сплетня.

Он сказал, что это вовсе не сплетня. — Он только что сам слышал по радио.

132

— Совершенно официально, — сказал он. — Наконец-то они до него добрались.

— Что вы этим хотите сказать? — спросил я.

— Он просто фальшивый герой из Мидлэнд-Сити, — сказал он. — В этом городе все любят пускать пыль в глаза.

— Очень мило говорить так про свой родной город, — сказал я.

— И отец ваш был фальшивый художник. Ни разу ничего хорошего не нарисовал. Я сам - фальшивка. Я и играть-то по-настоящему не умею. И ты фальшивка. Порядочной пьесы написать не можешь. Нам всем надо сидеть дома, где мы еще на что-то годимся. А твой братец тут-то и сделал ошибку. Уехал из дома. А в заправдашной жизни всегда фальшивки вылавливают. То и дело ловят таких жуликов.

Он опять захохотал, и я повесил трубку.

Но тут снова зазвонил телефон — звонил мой брат из своего особняка в Манхэттене. Все правда, сказал он. И всем известно, что его выгнали с работы.

— Мне здорово повезло, — сказал он, — мне еще никогда в жизни так не везло.

— Ну, если так, то я рад за тебя, — сказал я. Я стоял у телефона, под ногами хрустели разбитые очки и позвякивали золотые монеты. Полицейские пришли и ушли так быстро, что я им даже не успел сказать про золото.

Да, золото! Золото! Золото!

— Впервые в жизни я узнал, что я по-настоящему из себя представляю, — сказал Феликс. — Теперь женщины будут относиться ко мне просто как к человеку, а не смотреть на меня как на влиятельного чиновника, который может оказать им протекцию.

Я сказал, что вполне понимаю, какое это для него облегчение. В это время он был женат на Шарлотте, и я спросил, как она относится ко всему этому.

— Да я же и говорю именно про нее, — сказал он. — Она вышла замуж не просто за какого-то Феликса Вальца. Она вышла замуж за

президента Эн-би-си.

Я никогда не видел Шарлотту. По телефону она разговаривала со мной очень мило — может быть, немножко притворялась. Пыталась говорить со мной как с членом своей семьи. Думала что со мной надо говорить приветливо, каков бы я ни был. Даже не знаю, было ли ей известно, что я убийца.

А Феликс только что сказал мне, что она не в своем уме.

— Ну, это сильно сказано, — возразил я.

И тут я узнал, что Шарлотта так рассвирепела, что срезала все пуговицы с его костюмов — со всех пиджаков, курток, рубашек, даже со всех пижам. И все пуговицы спустила в мусоропровод.

133

Да, бывает, что люди так разозлятся друг на друга. Тогда они на все способны.

— А как мама к этому отнеслась? — спросил Феликс.

— Она еще ничего не знает, — сказал я. — Наверное, прочтет в утренних газетах.

— Ты ей скажи, что я никогда не был так счастлив, — попросил он.

— Ладно, — сказал я.

— Боюсь, ей будет очень неприятно, — сказал он.

— Ну, все же не так, как было бы полгода назад. Теперь у нее свои проблемы.

— Она больна? — спросил он.

— Нет, нет, нет, — сказал я. Она, конечно, уже была больна, только я об этом еще не знал. — Ее ввели в правление нового Центра искусств, и...

— Ты мне уже говорил, — сказал он. — Это очень любезно со стороны Фреда Т. Бэрри.

— Да, а теперь они воюют как кошка с собакой, спорят о современном искусстве, — сказал я. — Она закатила жуткий скандал из-за первых же двух вещей, которые он купил, хотя он за них заплатил из своего кармана.

— Что-то не похоже на нашу маму, — сказал Феликс.

— Одна из вещей — работа Генри Мура.

— Английского скульптора? — спросил Феликс.

— Да. А другая — картина какого-то Рабо Карабекьяна, — сказал я. — Статуя уже стоит в саду, и мама говорила, что это просто что-то вроде опрокинутой восьмерки. А картину решили повесить у самого входа, и это первая вещь, которую видят посетители. Она вся зеленая. Размером с дверь каретного сарая. На ней — одна вертикальная оранжевая полоса, и называется она "Искушение святого Антония". Мама написала в газету, что эта картина оскорбляет память нашего отца и память всех настоящих художников на свете — и живых, и мертвых.

Телефон замолчал. Я так и не узнал отчего. Я со своим аппаратом ничего не делал. Может быть, мой провод перегрыз мышонок. Он куда-то делся — может, грыз провод за стенкой. А может быть, в подвале дома моего брата кто-то поставил "подслушку". Может, частный сыщик, приглашенный его супругой, хотел собрать о нем порочащие сведения и предъявить их на бракоразводном процессе. Все возможно.

Потом телефон снова заработал. Феликс говорил, что хочет вернуться в Мидлэнд-Сити, найти свои корни. Он говорил совершенно не то, что мне рассказывал Кролик Гувер. Он говорил, что в Нью-Йорке сплошь одни фальшивки. Он перечислил имена своих бывших одноклассников. Сказал, что хочет пить с ними пиво и ходить на охоту.

134

Упомянул он и нескольких знакомых девушек. Мне было не совсем ясно, зачем он хотел с ними встретиться: все они давно были замужем и нарожали детей или уехали из нашего города. Но он даже не упомянул о Селии Гувер, и я ему о ней напоминать не стал, не сказал, что она стала страшной безумной старухой и только что разгромила нашу аптеку. Потом он объявит во всеуслышание, под влиянием наркотика, который ему прописывал врач, что она была единственной женщиной, которую он любил, и что именно на ней он должен был жениться.

Но Селии уже не будет в живых.

24

Я охотно попытался бы подробнейшим образом проанализировать характер Селии Гувер, если бы думал, что это имеет хоть какое-то отношение к тому, что она покончила с собой, наглотавшись "Драно". Но как фармацевт, я считаю себя обязанным отдать должное амфетамину, который ее до этого довел.

Вот предостережение, прилагаемое в обязательном порядке к каждой партии амфетамина при выпуске с фабрики:

"Амфетамином часто злоупотребляют. Наблюдается привыкание, возникает наркомания, тяжелые нарушения социальной адаптации. Известны случаи, когда пациенты самовольно увеличивали дозы в несколько раз. Резкое прекращение приема после длительного употребления больших доз вызывает апатию, депрессивное состояние; отмечены изменения в электроэнцефалограмме во время сна.

Хроническое отравление амфетамином вызывает острый дерматоз, бессонницу, раздражительность, повышенную возбудимость, изменение личности. Наиболее тяжелые симптомы хронической интоксикации дают картину психоза, почти неотличимого от шизофрении".

Угощайтесь!

■ Я уверен, что конец двадцатого столетия войдет в историю как эпоха фармацевтического шарлатанства. Мой родной брат приехал из Нью-Йорка, одуревший от всяких наркотиков: дарвона, риталина, метаквалона, валиума и черт знает от чего еще. И все это он получил по рецептам врачей. Он сказал, что приехал искать свои корни в родной почве, но, когда я услышал, как он травит себя лекарствами, я подумал, что скоро он и собственную задницу не сможет найти, хоть и будет

135

шарить обеими руками. Я подумал, что он просто чудом сообразил, где надо свернуть с магистрали.

Правда, в дорожное происшествие он все же угодил — в своем новехоньком белом "роллс-ройсе". Покупка этого "роллс-ройса" тоже была безумной выходкой наркомана. Его только что выгнали с работы, и его бросила четвертая жена, а он покупает машину за семьдесят тысяч долларов.

Он нагрузил ее всей своей одеждой без единой пуговицы — и подался в Мидлэнд-Сити. И когда он добрался до дома, его бессвязную болтовню нельзя было назвать речью нормального человека — он твердил одно и то же как одержимый. Ему хотелось всего лишь двух вещей. Во-первых, найти свои корни, а во-вторых, найти женщину, которая взялась бы пришить все срезанные пуговицы. Пуговицы остались только на костюме, что был на нем. Он пострадал, как никто другой, когда у него срезали все пуговицы на всех костюмах и пальто: они были сшиты в Лондоне, а там всюду вместо "молний" — на ширинках, на манжетах — ставились пуговицы, которые и вправду расстегивались и застегивались. Когда он решил показаться маме и мне в пиджаке без пуговиц, расстегнутые манжеты болтались у него, как у пирата из "Питера Пэна".

■ На левом крыле новехонького "роллс-ройса" была большая вмятина, и царапина, и какая-то пыльная синяя полоса, которая шла через левую дверцу. Очевидно, Феликс задел за что-то синее. И он, как и мы все, недоумевал, что бы это могло быть.

До сих пор это так и осталось для нас тайной, хотя я с радостью могу сказать: Феликс никаких наркотиков больше не употребляет, разве что иногда выпьет немного спиртного или кофе. Он вспоминает, как предложил руку и сердце какой-то девице, которую подхватил по дороге у шлагбаума при въезде в родной штат.

— Удрала от меня в центре Мансфилда, — рассказывал он на следующий вечер. Оказывается, он свернул туда, чтобы купить ей цветной телевизор или стереопроигрыватель — в общем, все, что она попросит, — хотел ей доказать, как она ему нравится. — Наверное, там я и заработал эту вмятину, — ска- зал он. Он помнил, какой наркотик сделал его таким безмозглым и влюбчивым. — Все от метаквалона, — сказал он.

■ Теперь я часто вспоминаю те паршивые домишки, мимо которых я проезжал всю жизнь, да и все американцы проез-

136

жают мимо таких убогих домиков, где во дворе стоят самые дорогие автомобили, а иногда и яхта на трейлере. И около нашей с мамой конурки под навесом откуда ни возьмись вдруг появился новый "мерседес", а на лужайке — новехонький "роллс-ройс" с откидным верхом. Феликс с ходу въехал на машине прямо на газон перед домом — хорошо еще, что не сбил фонарный столб и не переломал кустарник. Он ворвался в дом, крича:

— Блудный сын вернулся! Режьте упитанного тельца! — и так далее. Мы с мамой ждали его домой, но совершенно не знали, когда он вздумает явиться. Мы переоделись, уже выходили из дому и на всякий случай оставили для Феликса незапертой боковую дверь.

На мне был парадный костюм, тесный, как кожа на сардельке, — в последнее время я здорово растолстел... А все из-за того, что я сам так вкусно готовил. Я испробовал много новых рецептов, и получалось отлично. А на маме, не прибавившей ни одного грамма за пятьдесят лет, было то же самое черное платье, которое Феликс ей купил на похороны отца.

— Вы куда это собрались, а? — спросил Феликс.

Мама объяснила ему:

— Мы на похороны Селии Гувер.

Так Феликс узнал, что той девочки, которую он когда-то пригласил на бал выпускников, уже нет в живых. В последний раз он видел ее, когда она босиком убегала от него через пустырь — в непроглядную тьму.

Если бы он сейчас захотел ее догнать, пришлось бы ему последовать за ней далеко — туда, куда после смерти уходят души человеческие.

■ Хорошо бы снять в кино такую сцену: Феликс на небесах, в смокинге, в котором он собирался на бал старшеклассников, держит в руках золотые тувельки Селии и зовет, зовет ее: "Селия! Селия! Где ты? Где ты? У меня твои бальные тувельки!"

■ Словом, пришлось нам взять с собой Феликса на похороны. Под действием метаквалона он уверил себя, что он и Селия были влюблены друг в друга еще в школе и что он должен был на ней жениться.

— Такую девушку я искал всю жизнь, но так и не понял, что это она и есть, — сказал он.

137

Теперь я сознаю, что мы с мамой должны были тогда отвезти его прямо в больницу, чтобы там из него выкачали весь этот яд. Но мы сели в его машину, сказали, как проехать в церковь. Верх был откинут, так ехать на похороны было совершенно неприлично, да и сам Феликс был в жутком виде. Галстук сбил на сторону, рубашка грязная, два дня не брит, оброс щетиной. Купить "роллс-ройс" у него время нашлось, а купить пару рубашек ему и в голову не пришло. Не желал он покупать рубашки с пуговицами, пока не найдет женщину, которая пришла бы ему все пуговицы.

■ И мы отправились в Первую методистскую церковь, и Феликс сидел за рулем, а мама — на заднем сиденье. И надо же, чтобы судьба подстроила такую штуку: Феликс чуть не закрыл смотровой глазок своей первой жены Донны, когда она выходила из машины возле дома своей сестры-двойняшки на Арсенал-авеню. Она сама была бы виновата, если бы угодила под нашу машину, потому что вылезла не с той стороны, даже не посмотрев, не едет ли кто. Она сидела за рулем. Но на суде Феликсу пришлось бы плохо, если бы он ее сшиб, потому что один раз она из-за него уже пробилла головой ветровое стекло, и он все еще платил ей за это громадные алименты, да к тому же на суде выяснилось бы, что он принимает наркотики, и так далее. Я уверен в одном: присяжные бы этому богачу в "роллс-ройсе" спуска не дали.

Феликс даже не узнал свою первую жену. Донну; мне думается, что и она его не узнала. А когда я ему объяснил, кого он чуть не раздавил насмерть, он отозвался о ней очень нелестно. Вспомнил, что после того, как она врезалась в ветровое стекло, голова у нее была вся в шрамах. Стоило ему погладить ее по голове и нащупать пальцами эти шрамы, как он вдруг представлял себе, что играет в гандбол и в руках у него мяч.

— И я сразу начинал высматривать, кому бы его перебросить, — сказал он.

■ Но хуже всего Феликс со своим дружкой и благодетелем метаквалонем вели себя в церкви. К началу службы мы опоздали, пришлось сидеть на самых задних скамьях — там сидели все посторонние, а родственники усопшей сидели впереди, так что, если бы послышался какой-то шум, родственникам пришлось бы оборачиваться, смотреть, кто это там нарушает тишину.

138

Служба началась спокойно. Я услышал, как кто-то заплакал в первых рядах — это была горничная-негритянка Лотти Дэвис, служившая у Гуверов. Только она да Двейн Гувер оплакивали Селию. Остальные видели ее в последний раз лет семь тому назад, когда она играла главную женскую роль в моей пьесе "Катманду".

Ее сын не пришел.

Ее врач тоже не пришел.

Родители ее давно умерли, все братья и сестры разъехались кто куда. Знаю, что один из братьев был убит на войне в Корее. И кто-то клялся, что видел ее сестру Ширли в толпе статистов в новой версии боевика "Кинг-Конг". Очень может быть.

На похороны пришло человек двести. По большей части это были служащие, друзья, покупатели и поставщики Двей-на. По всему городу ходила молва, как ему необходима поддержка и как он всенародно каялся в том, что был плохим мужем и довел жену до самоубийства. Мне рассказывали, что на следующий день после самоубийства Селии он пришел в бар "Ату его!" и во всеуслышание сказал:

— Принимаю на себя только половину вины, а вторая — на совести этого сукина сына доктора Джерри Митчелла. Проверяйте, какими лекарствами ваш доктор пичкает вашу жену. Больше мне сказать нечего.

■ Сцена, наверное, была потрясающая. По вечерам, примерно с пяти до половины седьмого вечера, народу в баре было полно — там собирался неофициальный совет заправил Мид-лэнд-Сити. Правда, несколько крупных дельцов вроде Фреда Т. Бэрри вели игру в мировом

масштабе, и разговоры в баре их не интересовали. Но всем, кто занимался крупными делами или надеялся получить выгодный подряд у нас в округе, было бы просто глупо не показаться там хоть раз в неделю и не выпить там кружку пива. В этом "Ату его!" пиво лилось рекой.

Кстати, Двейн был одним из совладельцев гостиницы "Отдых туриста". Его контора по продаже автомобилей была на том же заасфальтированном участке, рядом с гостиницей. А в баре служил тапером Кролик, его сынок, которого он лишил наследства. Рассказывали, что, когда Кролик пришел наниматься тапером, управляющий спросил Двейна, как он к этому относится, на что Двейн ответил, что он и слыхом не слыхал ни о каком Кролике и ему наплевать, наймут его или нет, лишь бы он умел играть на рояле.

Говорят, Двейн еще добавил, что не выносит брэнчанья на

139

рояле, потому что оно мешает разговаривать. Он просит об одном — чтобы до восьми часов вечера никакой музыки не было. И хотя Двейн Гувер прямо ничего не говорил, он устроил так, что его недостойный сын никогда не попадался ему на глаза.

■ На похоронах Селии я вдруг отключился, замечтался. Нечего было ожидать, что я услышу что-нибудь новое, возвышенное. Даже священник, его преподобие Чарльз Харрелл, не верил ни в бога, ни в черта. Даже сам священник-не верил, что каждая жизнь по-своему значительна, что каждая смерть может потрясти и заставить понять что-то необычайно важное и так далее. Мертвое тело — это просто товар средней руки, пришедший со временем в негодность. И толпа провожающих — серийная продукция невысокого качества, которая тоже в свой час пойдет в утиль.

И сам город уже был обречен. Центр почти вымер. Все жители ездили за покупками в окрестные поселки. Тяжелая промышленность прогорела. Население постепенно разбредалось кто куда.

Да и вся наша планета была обречена на гибель. Рано или поздно она все равно взорвется, если не успеет до того отравиться насмерть. Она, можно сказать, уже наглоталась "Драно".

Так, сидя в церкви на задней скамье, я мысленно построил теорию—что такое жизнь и зачем она нам дана. Я себе представил, что и мама, и Феликс, и его преподобие Харрелл, и Двейн Гувер — клетки гигантского, мощного организма какого-то животного. Не стоит всерьез воспринимать нас как обособленные личности. И мертвое тело Селии в гробу, насквозь пропитанное ядовитым "Драно" и амфетамином, может быть, просто отмершая клеточка необъятной поджелудочной железы величиной с Млечный Путь.

Смешно же, если я, микроклеточка, стану принимать свою жизнь всерьез!

И я почувствовал, что улыбаюсь во весь рот во время похорон.

Но я сразу же согнал улыбку с лица. Я испуганно огляделся — не заметил ли кто. Один человек все видел. Он стоял на другом конце нашего ряда и не отвернулся, когда наши взгляды встретились. Он смотрел на меня не отрываясь, и я первым отвел глаза. Я его так и не узнал. На нем были огромные дымчатые очки, и свет отражался от зеркальных стекол. Это мог быть кто угодно.

Но тут я сам стал центром всеобщего внимания — его пре-

140

подобие Харрелл произнес мое имя. Он говорил про Руди Вальца. Это был я. Пусть знает тот, кто следит за нашим жалким существованием в электронный микроскоп: и у нас, ничтожных клеточек, есть собственные имена, и пусть мы многого не знаем, но свои имена все же помним.

Его преподобие Достопочтенный Харрелл рассказал прихожанам про те полтора месяца, когда и он сам, и покойная Селия Гувер, и драматург Руди Вальц познали благословенное, святое бескорыстие, которого так не хватает в нашем мире. Он рассказывал о постановке моей пьесы "Катманду". Сам он играл роль Джона Форчуна, пилигрима, отправившегося из Огайо в никуда, а Селия играла его жену, явившуюся с того света. Актер он был очень талантливый. В нем было что-то львиное.

По-моему, Селия вполне могла бы влюбиться в него. Собственно говоря, она могла бы влюбиться и в меня. Разницы никакой: и я, и его преподобие Харрелл - оба мы в этом смысле не представляли никакого интереса.

И, как может только очень талантливый актер, его преподобие Харрелл представил постановку "Катманду" в "Клубе парика и маски" событием необычайной важности для всего города. Особенно он превозносил Селию. По правде говоря, пьеса была для зрителей развлечением, вроде хорошего баскетбольного матча. Просто в тот вечер они были не прочь побывать и на спектакле.

■ Его преподобие Харрелл сказал:

- Как жаль, что Селия не дожила до завершения строительства мемориального Центра искусств имени Милдред Бэр-ри на Сахарной речке, но ее участие в постановке "Катманду" доказывает, что искусство процветало в Мидлэнд-Сити и до того, как был построен этот Центр. — Он провозгласил, что самые прекрасные центры искусств в каждом городе — это человеческие души, а не дворцы и мавзолеи. Он снова обратил внимание аудитории на меня. — Вот там, в заднем ряду, сидит центр искусств, именуемый Руди Вальц, — сказал он.

И тут Феликс и его дружок метаквалон зарыдали в голос. Феликс ревел, как сирена пожарной машины, и никак не мог остановиться.

25

Слава богу, тут началось чтение молитв, потом заиграл орган, и после этого гроб поставили на катафалк. А то громкие

141

стенания Феликса нарушили бы всю церемонию похорон. Мы с мамой решили на кладбище не ехать. Нам только и хотелось увести Феликса из церкви и доставить его в городскую больницу. Единственной нашей мыслью было, как бы не выскочить из церкви впереди гроба.

Приехали мы позже всех, машину пришлось поставить в дальнем конце стоянки, и окрестные ребятишки уже восхищенно сгрудились вокруг нашего "роллс-ройса". Конечно, они таких машин никогда не видали, но хорошо знали эту марку. Они с таким благоговением созерцали машину, словно уже шли за открытым гробом в похоронной процессии.

Кстати, Селию везли в закрытом гробу. Наверное, хотели скрыть, во что ее превратил порошок "Драно".

Мы усадили Феликса на заднем сиденье — он не сопротивлялся. Он только рыдал, забившись в угол, но верх-то был откинут. Мне кажется, посади мы его на дерево, хоть на самую верхушку, среди птичьих гнезд, он и там сидел бы и рыдал, ничего не замечая вокруг.

Но ключей мы у него допроситься не могли. В такое время он ни о чем земном, в том числе и о ключах, думать не желал. Пришлось мне самому обшарить его карманы. А мама все время торопила меня: скорей, скорей! Я случайно обернулся к церкви и увидел, что Двейн Гувер, должно быть сказав, чтобы никто за ним не шел — ему нужно срочно поговорить с Феликсом по личному делу, — уже идет к нам.

Можно было ожидать, что он захочет быть поближе к катафалку и, чтобы избежать любопытных, а лжет быть, и укоризненных взглядов, забьется в уголок закрытого похоронного "кадиллака", который поедет следом за катафалком. Не тут-то было — он явно намеревался пройти все пятьдесят ярдов по стоянке, а там, кроме нас, никого не было, потому что мы выскочили из церкви раньше всех. Точь-в-точь как в ковбойском фильме перепуганные горожане сбились в кучу, а измученный, но не сломленный герой идет тяжелым шагом навстречу роковой судьбе. Один.

Катафалк подождет.

Дело — прежде всего.

■ Если эту встречу представить в виде небольшой пьески, ' декорации будут очень простые. В глубине сцены — обочина тротуара, обозначающая край стоянки. "Роллс-ройс" с откинутым верхом — самый дорогой предмет реквизита — надо припарковать у обочины, въехав справа. Задник за обочиной можно расписать кустиками и деревьями. Красивая деревянная табличка объясняет более точно, где происходит действие:

142

ПЕРВАЯ МЕТОДИСТСКАЯ ЦЕРКОВЬ СТОЯНКА ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Ф е л и к с рыдает, скорчившись на заднем сиденье "роллс-ройса". **Мама** — ее зовут Э м м а -- и я, Р у д и, стоим около **машины**, **ближе** к зрителям. Эмма, вне себя от нетерпения, торопит с отъездом, а **Руди** шарит по карманам Феликса, ища ключи от **машины**.

Ф е л и к с. Да кому какое дело, где они, эти ключи!

Эмма. Скорей, прошу тебя — скорей!

Р у д и. Сколько же карманов эти проклятые лондонские портные делают в одном пиджаке? Черт бы тебя побрал, Феликс!

Ф е л и к с. Я жалею, что вернулся домой, — вот до чего ты меня довел.

Эмма. Нет, я сейчас умру!

Ф е л и к с. Я так ее любил.

Р у д и. Да что ты? {Случайно оборачивается к церкви и приходит в ужас, увидев, что к ним идет Двейн.} О боже ты мой!

Ф е л и к с. Помолись за нее... Мне тоже больше ничего не остается.

Руди. Феликс, выходи из машины!

Эмма. Нет, нет! Пусть только пригнетса.

Руди. Мама, оглянись же! Сюда идет Двейн!
Э м м а *(оборачивается; испуганно)*. Ему же полагается быть рядом с покойницей.
Руди. Феликс, вылезай сейчас же! Кажется, кто-то собирается вытрясти из тебя душу.
Ф е л и к с . Я только что вернулся домой.
Р у д и . Я не шучу. Сюда идет Двейн. Неделя назад он чуть не вытряхнул душу из доктора Митчелла. Сейчас он и до тебя доберется.
Ф е л и к с . Драться мне с ним, что ли?
Р у д и . Скорей вылезай из машины, беги!
Феликс выбирается из машины, жалобно причитая. Слезы у него высохли. Опасность для него настолько нереальна, что он даже не оборачивается туда, откуда ему что-то грозит. Он разглядывает машину — вмятину на боку, царапину — и даже не видит, что справа подошел Двейн.
Ф е л и к с . Взгляните-ка! Жалость-то какая! Д в е й н . Жаль, жаль! Такая чудная машина! Ф е л и к с *(оборачивается, видит Двейна)*. Привет!
Вы — муж.
Д в е й н . А вот вы тут при чем?

143

Ф е л и к с . Что?
Д в е й н . Да, н ее муж, и у меня большое горе, но реветь так, как вы, я бы не смог. На моей памяти никто так не рыдал — ни мужчина, ни женщина. Вы-то тут при чем?
Ф е л и к с . Мы еще в школе любили друг друга...
Двейн задумывается. Феликс вынимает из кармана пузырек с таблетками, хочет открыть.
Э м м а . Нет, нет, никаких таблеток!
Р у д и . Мой брат не совсем здоров.
Э м м а . Да он сумасшедший! А я им так гордилась!
Д в е й н . Я бы очень огорчился, если бы думал, что он ненормальный. Нет, надеюсь, что он плачет именно потому, что он — нормальный человек.
Э м м а . Но драться он не умеет. И никогда не умел.
Р у д и . Мы едем в больницу.
Ф е л и к с . Погодите, черт побери! Я заплакал, потому что я абсолютно нормальный. Самый нормальный во всей этой выгребной яме! Что тут творится, черт вас дерит?
Эмма. Сам напросился - смотри, как бы тебе мозги не вышибли!
Ф е л и к с . Хуже, чем ты, нет матери на свете!
Э м м а . Нет! Я ни разу в жизни не опозорила ни себя, ни свою семью перед людьми, запомни это!
Ф е л и к с . Да ты и пуговицы никогда не пришила. Ты меня никогда не приласкала, не поцеловала!
Э м м а . А что тут плохого?
Ф е л и к с . Никогда ты не была настоящей матерью.
Д в е й н . Объясните мне все-таки, почему вы заплакали?
Ф е л и к с . А кто нас воспитывал? Ты знаешь? Прислуга, вот кто! Эту леди каждый год в День матери следовало бы угощать углем и розгами. Мы с братом негров знаем куда лучше, чем белых, — могли бы даже на эстраде их изображать.
Д в е й н . Похоже, он на самом деле спятил, а?
Ф е л и к с . Эймос и Энди — парный конференс.
Э м м а . Меня никогда в жизни никто так не унижал! Да, нигде и никогда! А я ведь в молодости весь мир объехала!
Д в е й н . Только у вас никогда жена не кончала самоубийством. Или муж.
Эмма. Понимаю, как вы намучились, а тут еще это несчастье.
Д в е й н . Не знаю, в каких странах вы побывали, но есть ли в целом мире такое место, где самоубийство близкого человека не считалось бы величайшим позором?
Э м м а . Ступайте назад, к друзьям. Повторяю — мне так стыдно за сына, что лучше бы он лежал мертвый. Идите к своим друзьям.

144

Д в е й н . Куда? Вон к тем людишкам? Знаете что — я бы сам по себе сюда пришел, даже если бы вас тут не было. Если бы я случайно не наткнулся на вас, я, может, шел бы и шел, пока не дошел бы до Катманду. Только я один из всего нашего паршивого города не бывал в Катманду. Мой зубной врач там был.

Э м м а . Вы лечитесь у Герба Стакса?

Д в е й н . Конечно. И Селия тоже... вернее, лечилась.

Эмма. Странно, что мы там не встречались.

Ф е л и к с . А это потому, что он заставлял чистить зубы пастой "Глим" с флюористаном.

Эмма. Я не отвечаю за то, что плетет Феликс. Просто непостижимо, как он руководил крупнейшей телекомпанией!

Д в е й н . Селия никогда мне не говорила, что вы были влюблены друг в друга. Она жаловалась до последних дней, что ее все равно никто не любит, к чему ей лечить зубы?

Э м м а . И радио тоже. Он и радиовещанием заправлял.

Ф е л и к с . Ты мешаешь серьезному разговору — как всегда. Да, мистер Гувер, мы с Селией были влюблены друг в друга еще в школе, но только сейчас, в церкви, я понял, что она была единственной женщиной, которую я любил, и, может быть, единственной, кого я буду любить вечно. Надеюсь, я вас не обидел?

Д в е й н . Нет, я очень рад. Вряд ли я похож на счастливого человека, но я и вправду счастлив. Сейчас катафалк начнет сигнализировать, чтобы я не опоздал, кладбище скоро закроют. Она была как вот этот "роллс-ройс", верно?

Ф е л и к с . Я не знал женщины прекраснее. Вы не обижайтесь, не надо.

Д в е й н . Что вы, что вы! Какая тут обида! Пусть любой, кто хочет, повторяет, что он не знал женщины прекраснее. Надо было вам на ней жениться, а не мне.

Ф е л и к с . Я был недостоин ее. Смотрите, какую вмятину я сделал на своем "роллс-ройсе"!

Д з е й н . Вы заделали за что-то голубое.

Ф е л и к с . Послушайте. Она гораздо дольше продержалась с вами, чем могла бы продержаться рядом со мной. Такого негодного мужа, как я, еще свет не видал.

Д в е й н . Я куда хуже вас. Я просто сбежал от нее, она была со мной очень несчастлива, а я не знал, что делать, да и некому было сбить ее с рук. Машины я умею продавать, это я постиг. И чинить умею — без дураков. Одного я не знал — как привести в порядок эту женщину. Даже представления не имел, где такие инструменты достать. Так что я поставил ее на прикол и позабыл о ней. Жаль, что вы не попались нам в это время — вы бы нас обоих спасли. Но сегодня вы мне доставили огромную радость. По крайней мере мне теперь не

приходится упрекать себя, что моя бедная жена прожила всю жизнь, так и не узнав, что такое настоящая любовь.

Ф е л и к с . Где я? Что я тут наговорил? Что я натворил?

Д в е й н . Поехали со мной на кладбище. Мне все равно — нормальный вы или псих. Но этому несчастному продавцу автомобилей станет немного легче, если вы поплачете, пока мы будем хоронить мою бедную жену.

Занавес

26

Мне кажется, все мы воспринимаем нашу жизнь как роман, и я убежден, что психологам, историкам и социологам было бы полезно признать это. Если человек — женщина или мужчина — выходит за пределы положенного ему срока (в среднем этот срок — шестьдесят лет с чем-то), то вполне возможно, что сюжет его жизни уже, в сущности, исчерпан и осталось только одно — эпилог. Жизнь еще тянется, но рассказывать больше не о чем.

Многим людям так не по душе доживать свой эпилог, что они кончают жизнь самоубийством. Как не вспомнить Эрнеста Хемингуэя. Как не вспомнить Селию Гувер, урожденную Гилдрет.

Биография моего отца, как мне кажется и как, вероятно, казалось ему самому, закончилась, когда я застрелил Элоизу Метцгер, а он принял на себя мою вину и полицейские сбросили его с железной лестницы. Художника из него не вышло, не вышло из него и солдата — но он мог по крайней мере вести себя как настоящий герой, храбро и честно, если бы только представилась возможность.

Именно такой он и видел свою жизнь в мечтах.

И тут возможность представилась. Он вел себя как настоящий герой, храбро и честно. А его сбросили с лестницы, как мешок с мусором.

Уже тогда должно было где-то появиться слово КОНЕЦ.

Оно не появилось. Но все последующие годы были чем-то вроде эпилога к его жизни — просто свалка каких-то случайных, незначительных событий, всякий хлам, какие-то обрывки и ошметки, коробочки и пакеты черт знает с чем.

И в истории народов может случиться такое. Иногда народ думает, что творит эпос, но сюжет его уже исчерпан, а жизнь все идет. Может, история моей родины как эпос кончилась после второй мировой войны, когда Америка была самой богатой, самой процветающей страной на Земле, когда

она собиралась стоять на страже мира и справедливости, потому что только она одна владела атомной бомбой.

КОНЕЦ.

Феликсу эта теория пришлась по душе. Он сказал, что история его собственной жизни закончилась, когда он стал президентом Эн-би-си и вошел в первый десяток самых элегантных мужчин в нашей стране.

КОНЕЦ.

Правда, он считает, что самое лучшее время в его жизни как раз эпилог, а не основная история. Похоже, что это можно сказать о многих людях.

Бернард Кетчем пересказал нам один диалог Платона: древнего старика спрашивают, что чувствует человек, который по старости уже не интересуется сексом. Старик говорит, что ощущение такое, будто тебе разрешили соскочить с дикого жеребца.

А Феликс сказал, что у него было точно такое же чувство, когда его выперли из Эн-би-си.

■

Может быть, это очень плохо, что многие люди стараются сделать из своей жизни как можно более занимательную историю. Ведь всякий сюжет - это нечто искусственное, вроде механического, бьющего задом мустанга в питейном заведении.

А еще хуже, когда целый народ пытается стать героем исторического романа.

Хорошо бы выбить на мраморе над входом в здание Организации Объединенных Наций и в здания всех парламентов малых и больших государств: ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ ИСТОРИИ ЗА ПОРОГОМ.

■

Мне думается, что именно на похоронах Селии Гувер я и соскочил с истории своей жизни, как с дикого жеребца, когда его преподобие Харрелл публично отпустил мне мой грех - убийство Элоизы Метцгер в те давние годы. Хотя, возможно, это произошло еще два года спустя, когда мою мать в конце концов прикончила радиоактивная каминная доска.

Я старался искупить по мере сил свою вину перед ней и перед отцом, считая, что я испортил им жизнь. Но теперь мать ни в каких услугах не нуждалась. Эта история кончилась.

■

Быть может, мы так никогда бы и не узнали, что ее убила каминная доска, если бы у нас не объявился один искусство

147

вед, преподававший в университете штата Огайо, в городе Афины. Звали его Клифф Маккарти. Он был и художником. Но жизнь Клиффа Маккарти никогда не пересекалась бы с нашей жизнью, с нашими судьбами, если бы газеты столько не писали о маминых протестах против произведений, приобретенных Фредом Т. Бэрри для Центра искусств. Клифф прочитал об этом в журнале "Наш народ". И конечно, мама не нападала бы с такой страстью на Фреда Т. Бэрри, если бы у нее в мозгу не развивались мелкие опухоли из-за облучения от радиоактивной каминной доски.

Колесики цепляются за колесики... Шестеренки судьбы!

В журнале "Наш народ" маму называли "вдовой известного художника из штата Огайо". Клифф Маккарти уже много лет, при финансовой поддержке известного кливлендского филантропа, работал над книгой обо всех выдающихся художниках штата Огайо, но о моем отце он никогда не слышал. Поэтому он посетил наш "нужничок" и сфотографировал неоконченную работу отца, висевшую над камином. Больше фотографировать было нечего, и он сделал несколько снимков с разной экспозицией своей большой камерой на трехногом штативе. Я думаю, просто из вежливости.

Его камера заряжалась кассетами с плоской пленкой четыре на пять, и несколько отснятых кассет он зачем-то вынул из своего кофра.

Одну из них он случайно забыл на камине. Через неделю, проезжая мимо, он свернул с шоссе и заскочил к нам за своей ■забытой кассетой.

Дня через три он позвонил мне по телефону и сказал, что вся пленка в этой кассете засветилась до черноты и один его товарищ, учитель физики, утверждает, что пленка лежала рядом с источником сильнейшего радиоактивного излучения.

■

По телефону он мне сообщил еще одну новость. Он читал дневник выдающегося художника Фрэнка Дювенека, который тот вел до конца жизни. Умер он в 1919 году в возрасте семидесяти одного года. Лучшие и наиболее плодотворные годы жизни Дювенек провел в Европе, но после того, как его жена скончалась в Италии, во Флоренции, он вернулся на родину, в Цинциннати.

— В этом дневнике есть запись о вашем отце, - сказал мне Маккарти. — Дювенек прослышал о великолепной студии, которую строил молодой художник в Мидлэнд-Сити, и шестнадцатого марта тысяча девятьсот пятнадцатого года он поехал взглянуть на эту студию.

—А что он пишет?

— Пишет, что студия прекрасная и любой художник мира полжизни отдал бы за такую студию. — Я спрашиваю, что он пишет про моего отца?

— Кажется, он ему понравился, — сказал Маккарти.

— Вот что, — сказал я. — Я прекрасно знаю, что мой отец не был никаким художником, да и сам отец это знал. Дювенек, верно, был единственный настоящий художник, который понял, что отец просто пускает пыль в глаза. Пожалуйста, скажите мне, что написал Дювенек про отца, пусть это будет даже что-то очень обидное.

— Ладно, я вам прочитаю вслух, — сказал Маккарти и тут же прочел: — "Отто Вальца надо расстрелять. Его надо расстрелять, ибо он живое доказательство того, что у нас в стране доказывать совершенно ни к чему: что художник — ничтожество, никакого значения не имеющее".

■ Я стал разузнавать, кто у нас ведаёт гражданской обороной. Я надеялся, что у такого человека есть счетчик Гейгера или какой-нибудь другой прибор для измерения радиоактивности. Выяснилось, что ответственный за гражданскую оборону нашего округа — некто Лоуэлл Ульм, владелец автосервиса на шоссе, у шлагбаума перед аэропортом. Это лично ему мы должны будем звонить по телефону, если разразится третья мировая война. У него-то и был счетчик Гейгера.

И он заглянул к нам после работы. Сначала ему пришлось заехать домой за этим самым счетчиком. Оказалось, что безобидная с виду доска над камином, перед которым мама сидела, часами глядя в огонь или повыше, на неоконченную картину отца, — эта доска таила в себе смерть. Лоуэлл Ульм сказал так:

— Будь я проклят, да ведь эта чертова доска опаснее, чем детская коляска из Хиросимы!

■ Маму и меня переселили в новую гостиницу "Отдых туриста", а в это время рабочие в скафандрах, как астронавты на Луне, обезвреживали наш домишко в Эвондейле. И вот в чем ирония судьбы: будь моя мама обыкновенной матерью, домашней хозяйкой, которая только и мечется то в кухню, то в погреб, бегаёт за покупками и так далее, и будь я типичным маменькиным сынком, бездельником, который только и ждёт, чтоб его накормили, а сам слоняется по гостиной, смертельную дозу облучения вместо нее получил бы я.

Хорошо хогь, что Джино и Марко Маритимо к тому вре-

мени уже скончались, так ничего и не узнав. Им было бы очень тяжело узнать, что дом, который они фактически подарили нам, таил в себе такую опасность. Смотровой глазок Марко закрылся примерно за месяц до похорон Селии Гувер — он умер своей смертью, а через несколько месяцев Джин-но случайно погиб на строительстве Центра искусств. Вышло все до крайности глупо: Джин-но пытался наладить механизм подъемного моста в Центре искусств — через неделю должно было состояться торжественное открытие, — и его убило током. В общем, во время постройки Центра искусств имени Милдред Бэрри погибло всего два человека.

Не представляю себе, сколько человек погибло в Индии, на строительстве Тадж-Махала. Наверное, сотни, а то и тысячи. Красота редко достается по дешевке.

■ Но сыновья Джин-но и Марко, узнав про каминную доску, отнеслись к этому делу очень серьезно. Они были чрезвычайно расстроены — не меньше, чем были бы расстроены их отцы, — и рассказали нам даже больше, чем следовало, потому мы с Феликсом и решили подать в суд на их компанию, а впоследствии и на очень многих других людей. Они нам рассказали, что эта каминная доска валялась на свалке, в бурьяне, позади завода декоративного цемента, где-то на окраине Цинциннати. Там эту доску углядел старый Джин-но, она показалась ему еще вполне пригодной, и он купил ее по дешевке для образцового домика в Эвондейле, где потом поселил нас.

Нам вообще повезло, да и кое-какие честные люди помогли нам дознаться, откуда брали цемент для нашей каминной доски, и выяснилось, что следы ведут в Оук-Ридж, в штате Теннесси, где производили чистый уран-235 для атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году. Почему-то правительство разрешило продавать оставшийся цемент как отходы военной промышленности, хотя очень многим было известно, что он сильно радиоактивен.

В данном случае правительство вело себя так же безответственно, как глупый мальчишка, который баловался с заряженной винтовкой "спрингфилд" под куполом каретного сарая.

■ Когда мы с мамой вернулись в наш "нужничок", оказалось, что камина у нас больше нет. Нас не было дома только сутки, но вместо камина уже возникла гладкая стена, и вся

гостиная была выкрашена заново. Строительная компания братьев Маритимо все перестроила за свой счет, даже трудно было заметить, что у нас тут когда-то был камин.

Во время перестройки Феликса не было дома. Он поступил на работу под чужим именем, хотя его наниматели знали, кто он такой на самом деле и кем он был раньше, и теперь он работал диктором на радиостанции в Саут-Бенде, штат Индиана. Ничего унижительного в этом не было. Феликс делал именно то, что всегда хотел делать, что ему было по душе. Наркотиков он больше не употреблял. И мы им очень гордились.

■

Мама сказала очень характерную для нее фразу, увидев, что камина у нас больше нет:

— Ах, какой ужас! Просто жить не хочется без камина!

Что же в ее жизни было романом, а что — просто эпилогом? — спросите вы. Мне кажется, что ее жизнь походила на жизнь отца в том отношении, что к нашему — моему и моего брата — появлению на свет от их романа оставался только эпилог. Жизнь ее сложилась так, что вся история оказалась с гилькин нос: не успела она начаться, как тут же и кончилась. Например, рассказывать маме было не в чем — но прежде всего потому, что она никогда не испытывала искушения согрешить. И она не собиралась отправляться на поиски какого бы то ни было Святого Грааля, потому что это дело чисто мужское, а еще потому, что у нее уже была своя чаша, из которой сыпались и лились через край всякие вкусности — ешь и пей сколько душе угодно!

Мне кажется, что в Америке многие женщины сейчас жалуются именно на это: они считают, что роман их жизни чересчур уж коротенький, а эпилог слишком растянут.

А мамина история кончилась, как только она вышла замуж за самого красивого и богатого мужчину в городе.

27

Едва мама сказала, что ей просто жить не хочется без камина, как зазвонил телефон. Мама взяла трубку. Обычно я первым подходил к телефону, но теперь она как-то всегда опережала меня. С тех пор как она стала местной Жанной Д'Арк, сражающейся с абстрактным искусством, ее живо интересовал каждый телефонный звонок.

Прошел уже год после открытия Центра искусств имени Милдред Бэрри, где было много речей и много выступлений известных деятелей искусств со всей нашей страны. Но сейчас

никто туда не ходил, этот Центр стоял в запустении, как и старый универмаг в центре города или заброшенный вокзал, где когда-то пересекались Мононовская и Нью-Йоркская центральные железные дороги, а теперь там даже рельсы сняли.

Маму вывели из правления Центра искусств за резкие выступления на заседаниях и за то, что она весьма нелестно отзывалась об этом Центре в печати, на церковных собраниях, в клубах садоводов и так далее. Ее всюду приглашали — она была блестящим, остроумным оратором. Зато Фред Т. Бэрри совсем затих, как затихла жизнь в его Центре. Несколько раз мимо меня проезжал его "линкольн", но заднее стекло было затемненное, и я понятия не имел, там он или нет. Видел я иногда и самолет его фирмы "Бэрритрон" в аэропорту, но его самого ни разу не встречал. Я ждал, что когда-нибудь снова услышу о нем от его служащих, заходивших иногда в нашу аптеку. Но потом я понял, что служащие мистера Бэрри бойкотируют аптеку Шрамма как днем, так и ночью, потому что я, младший сын моей матушки, служу там.

Так что для меня было полной неожиданностью, что мама говорит по телефону с самим Фредом Т. Бэрри, и ни с кем иным. Он с отменной вежливостью выразил надежду, что мама будет дома в течение часа и соблаговолит принять его. Никогда раньше он и не заглядывал в нашу конурку. Сомневаюсь, что он вообще когда-нибудь бывал в Эвондейле.

Мама сказала: пусть он приходит хоть сейчас. Вот ее точные слова, произнесенные совершенно бесстрастно, тоном человека, который не знает, что такое поражение:

— Что ж, приходите, если вам угодно.

■

Мы с мамой никогда не обсуждали всерьез, какой вред радиоактивная доска над камином могла нанести нашему здоровью, более того, нам намекали, что это нежелательно — ни сейчас, ни впоследствии. Ульм, ответственный за гражданскую оборону, разбогатевший владелец автосервиса, созвонился по этому вопросу с кем-то из членов Комиссии по координации ядерных исследований в Вашингтоне, и ему сказали, что главное — предотвратить панику. Для предотвращения паники всех рабочих, ломавших наш камин в защитной одежде, заставили дать присягу — держать всю эту историю в тайне во имя патриотизма и ради безопасности родины. Пока мы с мамой жили в новой гостинице "Отдых туриста", в Эвондейле по указанию Вашингтона было

объявлено, что наш дом кишел термитами и что защитная одежда для рабочих была необходима, потому что они уничтожали насекомых при помощи цианида.

Хороши насекомые!

И мы не поддавались панике, как положено честным гражданам. Мы спокойно ждали прихода Фреда Т. Бэрри. Я стоял у большого окна и глядел на улицу сквозь щелки жалюзи. Мама отдыхала в кресле-массажере — мой брат Феликс подарил ей это кресло на позапрошлом рождество. Оно незаметно вибрировало и успокаивающе жужжало под ней. Мотор массажера работал на тихом ходу.

Мама сказала, что она совсем не чувствует последствий какой-то там радиации, хотя и знает об этом.

—А ты что-нибудь чувствуешь? — спросила она меня.

—Нет, - сказал я. Наверное, у людей такие разговоры будут мало-помалу входить в привычку, ведь радиоактивные материалы все шире расползаются по всему свету.

—Уж если бы нам с тобой грозила такая серьезная опасность, — сказала она, — мне кажется, мы бы что-нибудь заметили. Например, на камине были бы какие-нибудь дохлые жуки, или на комнатных цветах появились бы странные пятна, или еще что-нибудь, правда?

А в это время крошечные опухоли уже начинали расти в ее голове.

— Мне так неприятно, что соседям рассказали, будто у нас завелись термиты,-сказала она. - Не могли выдумать что-нибудь другое. А так все равно как если бы сказали, что у нас проказа.

Тут выяснилось, что ее в детстве очень напугали термиты, только она мне никогда не рассказывала. Она всю жизнь старалась даже не вспоминать об этом, но теперь с ужасом рассказала мне, как она еще маленькой девочкой вошла в музыкальную комнату в отцовском особняке, который она считала неприступной крепостью, и увидела, что из-под пола выбивается что-то вроде пены, лезет из-под плинтусов возле рояля, как будто выкипающий суп из-под крышки, сочится из ножек рояля и даже из клавишей.

— Это были миллионы, миллиарды насекомых с блестящими крылышками, растекавшиеся совершенно как жидкость, — рассказывала мама. — Я побежала за отцом. Он тоже глазам своим не поверил. На нашем рояле никто не играл много лет. Может быть, если бы на нем играли, эти насекомые сбежали бы оттуда. Но тут отец слегка толкнул ножку рояля, и она сплющилась, словно картонная. И рояль упал,

■

Мне было ясно, что этот случай врезался ей в память на всю жизнь, а я о нем ничего не слышал.

Если бы мама умерла в детстве, она вспоминала бы зем-

153

ную жизнь как то место, куда люди отправляются, когда им захочется посмотреть, как термиты слопали концертный рояль.

■

Итак, Фред Т. Бэрри прибыл в своем лимузине. Он уже был очень старый, да и мама была очень старая, и к тому же они еще так долго спорили о современном искусстве — стоит оно чего-нибудь или не стоит. Я открыл ему дверь, и мама приняла его, лежа в кресле-массажере.

—Пришел сдаваться, миссис Вальц, — сказал он. — Вы вправе гордиться собой. Я потерял всякий интерес к Центру искусств. Пусть из него сделают хоть инкубатор, мне все равно. Я уезжаю из Мидлэнд-Сити — навсегда.

—Я верю, что намерения были у вас самые лучшие, мистер Бэрри, — сказала она. — Никогда в этом не сомневалась. Но в следующий раз, когда захотите сделать людям чудесный подарок, узнайте сначала, хотят ли они получить его или нет. Не пытайтесь навязать его насильно — не втискивайте им в глотку.

Он продал свой "Бэрритрон" корпорации РАМДЖАК за сногшибательную сумму. Компания, скупающая американские фермы для арабов-переселенцев, купила и его ферму. Но насколько мне известно, ни один араб даже в глаза эту ферму не видел. Сам он переехал в Хилтон-Хед в штате Южная Каролина, и с тех пор я ничего о нем не слышал. Он был так разобижен, что даже не ассигновал никаких средств на содержание Центра искусств, а город настолько обнищал, что мог только оставить этот Центр в полном запустении и забросе.

И настал день, когда сверкнула та вспышка.

■

Мама скончалась через год после капитуляции Фреда . Т. Бэрри. Когда она в последний раз лежала в больнице, ей казалось, что она летит в космическом корабле. Она принимала меня за отца и считала, что летит на Марс и проведет там второй медовый месяц.

Она была бодра, как никогда, но абсолютно ничего не понимала. Мою руку она не выпускала ни на минуту.

— Помнишь ту картину? — говорила она и с улыбкой сжимала мне руку. Ей казалось, что я понимаю, какую именно картину из всех картин мира она имеет в виду. Сначала я думал, что речь идет о неоконченном шедевре отца, о картине, которую он начал в своей непутевой юности в Вене. Но в светлую минуту, когда она пришла в сознание, она объяснила, что

154

речь идет о ее фотографии в маленьком альбоме, где она сидит в лодке на какой-то речушке - может быть, даже в Европе. Впрочем, возможно, что это Сахарная речка. Лодка стоит на приколе. Весел нет. Мама никуда плыть не собирается. На ней летнее платье и соломенная шляпка. Кто-то уговорил ее сняться в лодке, чтобы вокруг была вода и тени от листвы. Она смеется. Она совсем недавно вышла замуж или скоро выйдет.

Никогда больше ей не быть такой счастливой. Никогда она не будет так хороша.

Кто же мог предполагать, что эта юная девушка однажды отправится в ракете на Марс?

■ Она скончалась семидесяти семи лет от роду, так что ее смотровой глазок мог закрыться от уймы разных причин, в том числе и просто от старой доброй жизни. Но вскрытие показало, что она была здорова, как молодая лошадка, если бы не эти мелкие опухоли в мозгу. Кстати, такие опухоли вызывает только радиоактивное облучение, так что мы с Феликсом пригласили адвоката Бернарда Кетчема, поручив ему предъявить иск всем, кто покупал или продавал в каком бы то ни было виде радиоактивный цемент из Оук-Риджа.

Процесс мы выиграли, но тянулся он долго, и я продолжал работать шесть ночей в неделю в аптеке Шрамма и вести хозяйство в нашей маленькой конурке, в Эвондейле. В общем, разницы нет никакой — ведешь хозяйство для двок х или для себя одного.

Мой "мерседес" доставлял мне такое удовольствие, что даже стыдно вспоминать.

Как-то раз, по недоразумению, меня заподозрили в том, что я похитил и убил маленькую девочку. Полицейские эксперты забрали мой "мерседес" и сантиметр за сантиметром исследовали все поверхности на отпечатки пальцев, прошлись по машине пылесосом и так далее. Вернули они мне машину, удостоверившись, что она совершенно чиста, и сказали, что ничего подобного они еще не видели. Я ездил на этой машине уже семь лет и наездил больше ста тысяч миль, но каждый волосок, каждый отпечаток пальца на ней был только мой собственный.

— Видно, вы не очень-то общительны, — сказал один из полицейских. — Зачем же вам такая большая машина?

■ Шоколадное печенье. Растопить полчаши масла и фунт сахара в литровой кастрюльке. Поставить на слабый огонь и

155

помешивать, пока не начнет пузыриться. Охладить до комнатной температуры. Добавить два яйца с чайной ложкой ванили. Смешать с чашкой хорошо просеянной муки, добавить пол чайной ложки соли, чашку грецких орехов, чашку полусладкого шоколада, наломанного кусочками.

Выложить на смазанный сливочным маслом противень. Выпекать при 235° примерно тридцать пять минут. Охладить до комнатной температуры и нарезать на квадратики ножом, смазанным маслом.

■ Думаю, что я был так же счастлив, как и любой другой обыватель в Мидлэнд-Сити, а может быть, и во всей стране, пока спокойно ждал окончания нашей судебной тяжбы. Но все в мире относительно. Меня, например, по-прежнему успокаивало, когда я бурчал себе под нос песенки собственного сочинения, бессмысленные наборы разных "скииди-уа" и "бо-дио-до" и так далее. У меня в машине был великолепный немецкий стереофонический приемник "Блаупункт ЧМ-АМ", но я почти никогда его не включал.

Кстати, о песенках-бессмыслицах: как-то утром я наткнулся на забавную надпись, сделанную шариковой ручкой на стене мужской уборной в аэропорту имени Уилла Фэйрчайлда. Я ехал домой с работы, как вдруг у меня схватило живот. Очевидно, я съел слишком много шоколадного печенья на ночь, перед уходом на работу.

Я подрулил к аэропорту и выскочил из своего восьмиместного "мерседеса". Я не собирался бежать в мужскую уборную — просто хотел найти укромное местечко. Но в это время, когда обычно там нет ни души, на стоянке уже была припаркована чья-то машина. Так что я сунулся в боковую дверь, и она оказалась незапертой.

Я вбежал в здание аэропорта, взлетел по лестнице к мужской уборной, на бегу заметив, что кто-то натирает пол механическим

полотером. Но, облегчившись, я стал опять таким же спокойным и респектабельным, как любой другой гражданин, а может, еще респектабельнее. Там я несколько минут был счастливее счастливых и здоровее здоровых, и вот какие слова я увидел на стене над раковиной: "To be is to do"¹ — Сократ. "To do is to be"² — Жан-Поль Сартр. "Do be do be do"³ — Фрэнк Синатра.

¹ "Быть — значит творить" (англ.). ² "Творить — значит быть" (англ.). ³ "Бессмысленный набор звуков."

156

эпилог

Я собственными глазами видел, что нейтронная бомба может сделать с маленьким городом. Я вернулся в отель "Олоффсон" после трехдневного пребывания в родном городе. Мидлэнд-Сити остался таким же, каким я его помнил, только там теперь нет ни одной живой души. Приняты самые эффективные меры безопасности. Район, где взорвалась бомба, надежно отгорожен высоким забором с колючей проволокой поверху, и примерно через каждые триста ярдов торчит сторожевая вышка. Перед забором расположены минные поля за невысокой изгородью из колючей проволоки — решительного человека она не остановит, но должна служить чем-то вроде дружеского предупреждения о минных полях.

Гражданским лицам разрешается посещать огороженный участок только днем. После наступления темноты район взрыва обстреливается без предупреждения. Солдатам дан приказ — стрелять по любому движущемуся объекту, и их оружие снабжено инфракрасными прицелами. Они могут видеть в темноте.

Днем гражданские лица допускаются в запретную зону только в ярко-красном школьном автобусе, и за рулем сидит военный, а еще несколько солдат строго и бдительно следят за пассажирами в салоне. Никому не разрешается проезжать по этому участку в собственной машине или разгуливать, где ему вздумается, даже если он потерял в этой катастрофе и свое дело, и всех родных — словом, все на свете. Теперь здесь все принадлежит государству, то есть всему народу, а не горстке собственников.

Нас было четверо: мы с Феликсом, наш адвокат Бернард Кетчем и Ипполит Поль де Милль, метрдотель из отеля "Олоффсон". Жена Кетчема и жена Феликса с нами ехать отказались. Они боялись радиоактивности, особенно жена Феликса, которая ждала ребенка. Мы никак не могли убедить этих невежественных трусих, что вся прелесть нейтронной бомбы именно в том, что после взрыва ни малейших следов радиации не остается.

Нам с Феликсом уже пришлось столкнуться с тем же невежественным предрассудком, когда мы хотели похоронить маму рядом с отцом на Голгофском кладбище. Люди отказывались верить, что ее тело само по себе не радиоактивно. Они были уверены, что от нее все другие покойники начнут светиться в темноте и что она просочится в систему водоснабжения и так далее.

А ведь для того, чтобы стать источником радиации, наша мать должна была откусить кусок радиоактивной каминной доски, да еще сделать так, чтобы он из нее не вышел обыч-

157

ным путем. Вот тогда действительно она могла бы нагонять смертельный ужас на всю округу целых двадцать тысяч лет, а то и больше.

Но ей это было ни к чему.

ш

Мы взяли с собой старого Ипполита Поля де Милля, который никогда нигде не бывал, кроме Гаити, выдав его за брата гаитянки-поварихи доктора Алана Маритимо, нашего ветеринара. Алан был блудным сыном семейства Маритимо — он отказался войти в строительную компанию. Вся его семья со всеми домочадцами погибла при взрыве. Кетчем состряпал подложное свидетельство, по которому Ипполит Поль получил разрешение въехать в город вместе с нами в ярко-красном школьном автобусе.

Мы хлопотали за него, потому что Ипполит Поль был самым ценным нашим служащим. Без неге, без его содействия гранд-отель "Олоффсон" стал бы пустым местом. Поэтому стоило постараться, чтобы он был нами доволен.

Ипполит Поль пришел в такой восторг от поездки, что предложил нам, по собственному почину, совершенно особенный подарок, от которого мы решили вежливо отказаться в подходящий момент. Он сказал, что если нам угодно, чтобы какой-нибудь призрак являлся в Мидлэнд-Сити в ближайшие несколько веков, он может вызвать его из могилы, и пусть гуляет на свободе, где ему вздумается.

Мы изо всех сил старались не верить, что он на это способен.

Но он был способен на все.

Потрясающе!

■ Запаха не было. Мы ждали невыносимого зловония, запаха тлена, но его не было. Саперы похоронили всех погибших под мощенной бетонными плитами муниципальной стоянкой для машин, как раз напротив полицейского управления, на том месте, где раньше стояло здание суда. Положив плиты на место, они снова насадили игрушечный садик из паркинг-счетчиков. Говорят, что вся эта процедура была запечатлена кинохроникой: превращение автомобильной стоянки в братскую могилу и снова в автомобильную стоянку.

Братец мой Феликс рокочущим басом разглагольствовал, что когда-нибудь на эту братскую могилу сядет летающая тарелка и инопланетяне решат, что вся наша планета — сплошной асфальт и единственные живые существа на ней — пар-

158

кинг-счетчики. Мы все сидели в школьном автобусе. Выходить здесь не разрешалось.

— Может быть, каким-нибудь жукоглазым чудищам на радостях покажется, что это райские кущи, — продолжал Феликс. — Им здесь ужасно понравится. Расколотят паркинг-счетчики рукоятками своих атомных пистолетов и примутся смаковать разные металлические кругляшки, крышки с пивных бутылок и монетки.

■ Тут мы увидели несколько съемочных групп, и якобы по их просьбе нам запретили что-либо трогать, даже наши собственные вещи, которые мы безошибочно узнаем. У нас было такое чувство, будто мы попали в какой-то национальный парк, где сплошь и рядом — вымирающие виды. Не разрешалось даже сорвать цветочек, чтобы понюхать. Может, это самый последний такой цветок во всей Вселенной.

Например, когда школьный автобус подвез нас к нашему с мамой "нужничку" в Эвондейле, я забрел на соседний участок, к Микерам. Трехколесный велосипедик малыша Джимми Микера стоял на дорожке, терпеливо дожидаясь своего хозяина. Я положил руку на седло — просто захотелось двинуть маленькую машину взад-вперед и сообразить, зачем же все-таки жили люди в Мидлэнд-Сити?

Но какой дикий вопль я вдруг услышал!

Это капитан Джулиан Пефко, который следил за нашей группой, заорал на меня: "Руки в карманы!" Это было еще одно правило: как только пассажиры выходили из школьного автобуса, им полагалось держать руки в карманах. И женщинам, если у них были карманы, тоже. Если же карманов не было, они должны были скрестить руки на груди. Пефко напомнил мне, что все мы внутри ограды находимся на военном положении.

—Еще раз проштрафитесь, мистер, — сказал он мне, — и отправитесь на каторгу. Двадцать лет в каменоломнях — это вам по вкусу?

—Нет, сэр, — сказал я. — Мне это ни к чему.

После этого никаких нарушений не было. Чему только не научишься в одну минуту под угрозой военного трибунала!

Разумеется, все эти строгости были введены только с одной целью: чтобы кинохроника могла запечатлеть, без всяких инсценировок, наглядное доказательство того, что нейтронная бомба совершенно безобидна.

И все скептики будут посрамлены раз и навсегда.

159

■ Но в опустевшем городе мне было нисколько не страшно, а Ипполит Поль радовался как дитя. Ему-то нечего было жалеть о близких — у него близких не было, некого было и жалеть. И он восклицал по-креольски, поневоле — в настоящем времени:

— Ишь, как они богато живут! Богато живут!

Но Феликса мое спокойствие наконец возмутило.

— Господи боже мой! — взорвался он к концу второго дня. — Ну прояви ты хоть капельку сочувствия, прошу тебя!

И я ему объяснил:

— Я же все это видел буквально ежедневно, всю свою жизнь. Только сейчас солнце заходит, а не восходит — а так Мидлэнд-Сити точь-в-точь такой же, как по утрам, когда я на рассвете запираю аптеку Шрамма и думаю: "Все ушли из города, и я остался один".

■ Нам разрешили въезд в Мидлэнд-Сити, чтобы сфотографировать и переписать вещи, которые точно принадлежали нам, или которые могли быть нашими, или те, которые мы считали своим законным наследством и могли получить после выполнения необходимых формальностей. Я уже говорил, что нам строго-настрога запретили дотрагиваться до чего бы то ни было. За попытку

вынести любую мелочь с места, где произошел взрыв, гражданским лицам грозило двадцать лет тюрьмы, а военнослужащим — расстрел.

Как я уже сказал, принятые меры предосторожности были выше всяких похвал, и мы слышали, как многие наши сограждане, пострадавшие куда больше, чем наша семья, превозносили военных за их храбрую, отличную работу. Всем казалось, что в Мидлэнд-Сити наконец-то воцарился порядок, чего раньше очень не хватало.

Но, как мы узнали в третий и последний день нашего пребывания на месте катастрофы, там, где кончались минные поля, начинались весьма предосудительные разговоры о федеральном правительстве, папахивающие государственной изменой. Жившие вне радиуса взрыва фермеры, которые всю жизнь были далеки от общественной жизни, как мастодонты, после взрыва вдруг принялись напропалую судить и рядить о политике.

Понятно — покупки-то им делать негде. Торговых центров больше нет.

Мы с Феликсом и с Ипполитом Полем завтракали в "Мотеле-люкс" около пещеры Святого чуда, где мы жили и куда

160

заезжал за нами красный школьный автобус. И там два фермера, одетые в синие рабочие комбинезоны, как некогда Джон Форчун в Катманду, раздавали листовки. Тогда "Мотель-люкс" еще не был на военном положении. Теперь, как я слышал, уже все мотели в пределах пятидесяти миль от Мидлэнд-Сити находятся на военном положении.

Двое мужчин, раздававших листовки, твердили: "Прочитайте всю правду и напишите своему конгрессмену". Но мно-¹гие посетители даже и смотреть не хотели на листовки, а мы взяли по одной.

Организация, которая просила нас сообщить всю правду нашему конгрессмену, называлась "Фермеры юго-западного Огайо — за ядерную безопасность". Они утверждали: конечно, куда как хорошо, что федеральное правительство сочиняет идеалистические проекты превращения Мидлэнд-Сити в тихое пристанище для разных беженцев из стран, где жизнь не такая счастливая, как в Америке, или вообще у них что-то не ладится. Но они также считали, что необходимо организовать всенародное обсуждение, что "пора поднять завесу молчания" и объяснить, почему и отчего все прежние обитатели оказались в братской могиле под общественной стоянкой для машин.

Они сознавали, что борьба их, может быть, и безнадежна — кому за пределами юго-западного Огайо какое дело до того, что произошло в местечке, называвшемся Мидлэнд-Сити? Насколько фермеры знали, Мидлэнд-Сити никогда раньше не показывали по телевидению — только после этого взрыва. Кстати, тут они ошибались. По телевидению его, конечно, показывали во время бурана 1960 года, но другого случая я что-то не припомню. А во время бурана электричество отключилось, и фермеры так и не узнали, что Мидлэнд-Сити показывали по телевидению.

Они все проворонили!

Однако от этого их листовки не стали менее убедительными, а говорилось там вот что: власть в Соединенных Штатах, несомненно, захватила кучка политиканов, спекулирующих влиянием и силой и считающих, что рядовые американцы так ничтожны, так бездарны, так скучны, что их можно безнаказанно истреблять десятками тысяч и никто об этом не пожалеет. "На примере Мидлэнд-Сити они уже это доказали, — говорилось в листовке, — и кто может поручиться, что не настанет очередь Терре-Хота или Скенектади?"

Вот что было самым поджигательским утверждением в их листовках — что на Мидлэнд-Сити нарочно бросили нейтронную бомбу, запустили с ракетного полигона или сбросили из стратосферы, а грузовик тут ни при чем.

Был приглашен математик — как там говорилось, "из прославленного университета", — чтобы он, независимо от

161

правительственных организаций, вычислил, где произошел взрыв. Имя математика обнародовать нельзя, чтобы его не начали преследовать, но его выводы, опирающиеся на распределение павших животных по периметру вокруг эпицентра взрыва, подтверждают, что взрыв действительно произошел рядом с Одиннадцатым поворотом, но не менее чем в шестидесяти футах над землей. Это убедительное доказательство того, что бомба была доставлена по воздуху.

Или грузовик вез нейтронную бомбу в чем-то вроде гигантского тостера, автоматически выбрасывающего поджаренные хлебные ломтики.

■

Бернард Кетчем спросил у фермера, который дал нам листовки, кто же эти люди, которые, по его мнению, сбросили на Мидлэнд-Сити нейтронную бомбу. И вот что он услышал в ответ:

—Они не хотят, чтобы мы знали их прозвание, поэтому они себя и не называют. Как можно сражаться с беспрозванными?
—Может, военно-промышленный комплекс? — высокомерно спросил Кетчем.—Или Рокфеллеры? Транснациональные компании? Секретная служба? Мафия?

И фермер ему ответил:

— Вам какое прозвание больше нравится? То и выбирайте. Может, попадете в точку, а может, и нет. Откуда простому фермеру знать? Только это они убили и президента Кеннеди, и его брата, и Мартина Лютера Кинга.

Вот он, докатился до нас — неудержимо нарастающий ком всеамериканской паранойи, клубок диаметром в сотни миль, в самом центре которого — нераскрытое убийство Джона Ф. Кеннеди.

— Вы тут помянули Рокфеллеров, — сказал фермер. —А я вам скажу, что они понимают ничуть не больше меня, кто именно всем управляет и вообще что творится на этом свете.

■ Кетчем спросил фермера, почему же этим таинственным безымянным организациям понадобилось стирать с лица земли население Мидлэнд-Сити, а потом, может быть, и Терре-Хота и Скенектади.

—Рабство! — не задумываясь ответил фермер.

—Простите, не понял? — сказал Кетчем.

—Хотят рабство вернуть, — сказал фермер. Он не назвал нам свое имя — видно, боялся неприятностей, но я догадывал-

162

ся, что это один из Остерманов — у них было в этих краях несколько ферм вокруг пещеры Святого чуда.

— Все думают, как бы заделаться рабовладельцами, — сказал фермер. — Гражданская война ничего не изменила, в конце концов. Они в душе верили, что раньше или позже у нас опять будет рабство.

Кетчем пошутил, что вполне понимает, как выгодно иметь рабов, особенно теперь, когда множеству американских предприятий приходится соревноваться с иностранными конкурентами.

—Но я не вижу связи между рабством и опустевшими городами, — сказал он.

—А мы так полагаем, — сказал фермер, — что рабами будут любые нации, только не американцы. Целые транспорты будут возить людей с Гаити, с Ямайки — словом, из тех мест, где страшная нищета, перенаселение жуткое. И всем им понадобится жилье. Так что же дешевле — использовать то, что у нас уже есть, или строить заново? — Он помолчал, дал нам минутку подумать и доСавил: — И знаете что? Видали ограду со сторожевыми вышками? Неужели вы на самом деле верите, что ее когда-нибудь снимут?

■ Кетчем еще сказал, что ему очень хочется знать, кто же эти темные силы.

— А я вам скажу свою дикую догадку, — ответил фермер. — Можете смеяться: тем, кого я назову, как раз на руку, чтобы над ними смеялись, пока не станет поздно. Им нежелательно, чтобы кто-то бил тревогу, что они заграбастали всю страну, сверху донизу. А потом будет уже слишком поздно.

И вот его дикая догадка:

— Ку-клукс-клан!

■ Моя же догадка вот какая: американскому правительству надо было точно проверить, действительно ли нейтронная бомба — такая безобидная игрушка, как их уверяют. Так что они взорвали одну на пробу в маленьком, всеми забытом городишке, где жизнь у людей все равно была не больно-то интересная, а предприятия или прогорали, или переезжали куда-нибудь. Не могло же наше правительство испытывать бомбу на городах в других государствах — того и гляди, вспыхнула бы третья мировая война!

Не исключено и то, что Фред Т. Бэрри, свой человек в высоких военных кругах, сам предложил Мидлэнд-Сити как идеальный полигон для испытания нейтронной бомбы.

163

■ Мы провели в Мидлэнд-Сити три дня, и к концу этого срока Феликс стал слезно просить капитана Джулиана Пефко, рискуя рассердить его, чтобы он разрешил нашему красному автобусу немного свернуть с дороги и заехать на Голгофское кладбище, где похоронены наши родители.

Несмотря на суровую внешность, у капитана Пефко, как это часто бывает у кадровых вояк, сердце было мягче свежего миндального печенья. Он разрешил.

■ Миндальное печенье. Заранее нагреть духовку до трехсот градусов. Чашку сахарного песка смешать с чашкой миндальной пасты и хорошенько растереть кончиками пальцев. Добавить три яичных белка, щепотку соли и пол чайной ложки ванили.

Расстелить на противне листы простой бумаги. Посыпать сахарным песком. Выдавить миндальную пасту с сахаром через шприц с круглым отверстием, чтобы она падала на бумагу одинаковыми аккуратными шариками. Посыпать сахарным песком.

Выпекать примерно двадцать минут. Совет: выложите листы бумаги с печеньем на мокрое полотенце. Печенье будет легче отделить от бумаги.

Дайте остыть.

■ Голгофское кладбище никаких утешительных впечатлений мне не сулило, и я едва не остался в красном автобусе. Но когда все уже вышли, я тоже решил выйти поразмяться. Я пошел на старое кладбище, где все места были заняты большей частью еще до моего рождения. Я остановился возле самого высокого памятника в этом саду из надгробий — это был обелиск в шестьдесят два фута высотой, с мраморным футбольным мячом на верхушке. Памятник увековечивал память Джорджа Хикмена Бэннистера, семнадцатилетнего школьника, смотровой глазок которого закрылся во время футбольного матча в День благодарения в 1924 году. Он был из бедной семьи, но тысячи людей видели, как он умирал — наших родителей там, кстати, не было, — и многие из них сложились и поставили этот обелиск.

Наши родители спортом не интересовались.

Футах в двадцати от обелиска виднелось самое фантастическое надгробье нашего кладбища: самолетный мотор с воз

164

душным охлаждением, высеченный из розового мрамора, и при нем — бронзовый пропеллер. Это был памятник Уиллу Фэйрчайлду из эскадрильи Лафайета, асу первой мировой войны, в честь которого называли наш аэропорт. Но он не погиб на войне. Он тоже на глазах у тысяч зрителей врезался в землю и сгорел вместе с самолетом, на котором демонстрировал фигуры высшего пилотажа на мидлэндской ярмарке в 1922 году.

Он был последним из Фэйрчайлдов, семейства первых поселенцев, в честь которых так много всего названо в нашем городе. Но он еще не успел выполнить завет "плодиться и размножаться", а его смотровой глазок уже захлопнулся.

На бронзовом пропеллере было вырезано его имя, даты жизни и слова, которыми летчики эскадрильи Лафайета во время войны обозначали смерть при исполнении боевого задания: "Ушел на запад".

А "запад" для американцев в Европе, конечно, означал "родной дом"!

Вот он и лежит у себя дома.

А где-то поблизости, как я знаю, лежало безголовое тело старого Августа Понтера, который водил моего отца, совсем еще мальчишку, в самые шикарные бордели веселого квартала. Стыд ему и позор!

Я поглядел вдаль, и там, на горизонте, за поблескивающей на солнце Сахарной речкой я увидел шиферную крышу моего родного дома, увенчанную сверкающим белым конусом. В лучах заходящего солнца он и вправду напоминал изображение Фудзиямы — священного вулкана Японии — на цветной открытке.

Феликс и Кетчем были поодаль, у недавних могил. Феликс потом рассказал мне, что он кое-как совладал с собой на могиле отца и матери, но разрыдался, когда отвел глаза от их имен и обнаружил, что попирает ногами могилу Селии Гувер.

Элоиза Метцгер, женщина, которую я застрелил, тоже была похоронена где-то там, я ее могилку не навещал.

Я слышал, как мой брат разрыдался над могилой Селии Гувер, и взглянул в ту сторону. Я видел, как Ипполит Поль де Милль пытается его утешить.

Кстати, и я гулял не один. Меня сопровождал солдат с заряженной автоматической винтовкой — следил, чтобы я держал руки в карманах. Даже надгробия трогать не разрешалось. И Феликс, и Ипполит Поль, и Кетчем тоже не вынимали руки из карманов, как их ни подмывало сопровождать жестикуляцией свои разговоры среди могильных памятников.

А потом Ипполит Поль де Милль сказал Феликсу по-креольски нечто столь поразительное, столь оскорбительное, что

165

с Феликса все горе слетело разом, как железная маска. Ипполит Поль предложил вызвать из могилы дух Селии Гувер, если Феликсу вправду хочется снова повидаться с ней.

Вот вам настоящее столкновение двух культур, которое я видел своими глазами!

Ипполит Поль считал, что вызвать дух из могилы — самая обычная услуга, которую одаренный оккультист может оказать

своему другу. Он вовсе не предлагал вызвать из могилы оживший труп, зомби, чтобы тот разгуливал в остатках лохмотьев на истлевших костях, — это было бы, конечно, недопустимо и отвратительно. Он просто хотел вызвать для Феликса туманный, но знакомый образ — на него можно поглядеть, к нему можно обратиться, правда, дух не может отвечать, но все же это какое-то утешение.

А Феликсу казалось, что наш гаитянский метрдотель предлагает сделать из него сумасшедшего — кто же, кроме психа, будет радоваться встрече с духом покойницы?

И вот эти совершенно непохожие друг на друга человеческие существа, глубоко засунув руки в карманы, пререкались, не слушая один другого, на смеси английского с креольским, а Кетчем, капитан Пефко и двое солдат на это смотрели.

В конце концов Ипполит Поль так разобиделся, что повернулся спиной к Феликсу и пошел прочь. Он шел в мою сторону, и я кивнул ему головой, чтобы: подозвать его поближе, показать ему, что разрешу это недоразумение, что я и его, и Феликса прекрасно поднимаю и так далее.

Если он затаит обиду на Феликса, гранд-отель "Олофф-сон" пойдет прахом.

— Она же ничего не чувствует. Она ничего не понимает, — сказал он мне по-креольски. Он хотел объяснить, что дух Селии не причинит ни малейшей обиды, или неловкости, или неудобства самой Селии, потому что она уже ничего не может почувствовать. Этот дух будет всего лишь безобидным привидением, напоминающим живую Селию.

— Я знаю. Я все понимаю, — сказал я. Я объяснил, что Феликс за последнее время очень много пережил и что Ипполит Поль сделает ошибку, если станет принимать слишком близко к сердцу то, что ему говорит Феликс.

Ипполит Поль нерешительно кивнул и вдруг повеселел. Он сказал, что на кладбище, наверное, найдется хоть кто-то, кого мне хотелось бы снова повидать.

Разумеется, солдат, охранявший нас, ничего этого не понял.

— Ты славный малый, — сказал я по-креольски. — Ты очень великодушен, но мне ничего не нужно, мне и так хорошо.

166

Но старый метрдотель настроился сотворить чудо, хотим мы этого или нет. Он доказывал, что мы обязаны, ради прошлого и ради будущего, вызвать кого-то, такого полномочного представителя потустороннего мира, который будет веками бродить по городу, кто бы в нем ни поселился после нас.

И он вызвал дух Уилла Фэйрчайлда. Этот шут гороховый был в огромных очках-консервах, в белом шелковом кашне и черном кожаном шлеме — словом, одет по всей форме, только парашюта не хватает.

Я вспомнил, что отец мне как-то сказал про него:

— Уилл Фэйрчайлд был бы жив до сих пор, если бы не позабыл надеть парашют.

Вот какой подарок приготовил Ипполит Поль де Милль всем, кто впоследствии поселится в Мидлэнд-Сити: неугомонный дух Уилла Фэйрчайлда.

А я, Руди Вальц — так сказать, Шекспир из Мидлэнд-Сити, единственный настоящий драматург, который когда-либо там жил и работал, — теперь преподношу эту легенду в дар будущим гражданам моего города.

Я придумал, как объяснить, почему дух Уилла Фэйрчайлда можно увидеть почти везде — и в пустующем Центре искусств, и в зале банка, и среди жалких "нужничков" Эвондей-ла, и среди роскошных особняков на Фэйрчайлдовских холмах, и на пустыре, где столько лет стояла городская библиотека.

Уилл Фэйрчайлд повсюду ищет свой парашют.

■ Хотите, я вам что-то скажу? Мы с вами все еще живем в глухом средневековье. У нас до сих пор тянется темное, глухое средневековье.

Курт Воннегут
МАЛЫЙ НЕ ПРОМАХ
Роман

ИБ №3912

Редактор И. АРХАНГЕЛЬСКАЯ
Художник А. ПЛАТОНОВ
Художественный редактор Е. ФИНОГЕНОВА
Технический редактор В. ГУНИНА
Корректор В. ПЕСТОВА

Сдано в набор 16.03.87. Подписано в печать 5.11.87. Формат 84х108/32. Бумага офсетная. Гарнитура Универс. Печать офсет. Усл. печ. п. 8,82. Усл. кр.-отт. 17,85. Уч.-изд. л. 10,01. Тираж 100000 экз. Заказ № 424. Цена 1 р. 20 к. Изд. № 3732. Издательство "Радуга" Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, 119859, Зубовский бульвар, 17. Отпечатано с оригинал-макета способом фотоофсет на Можайском полиграфкомбинате Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Можайск, 143200, ул. Мира, 93.